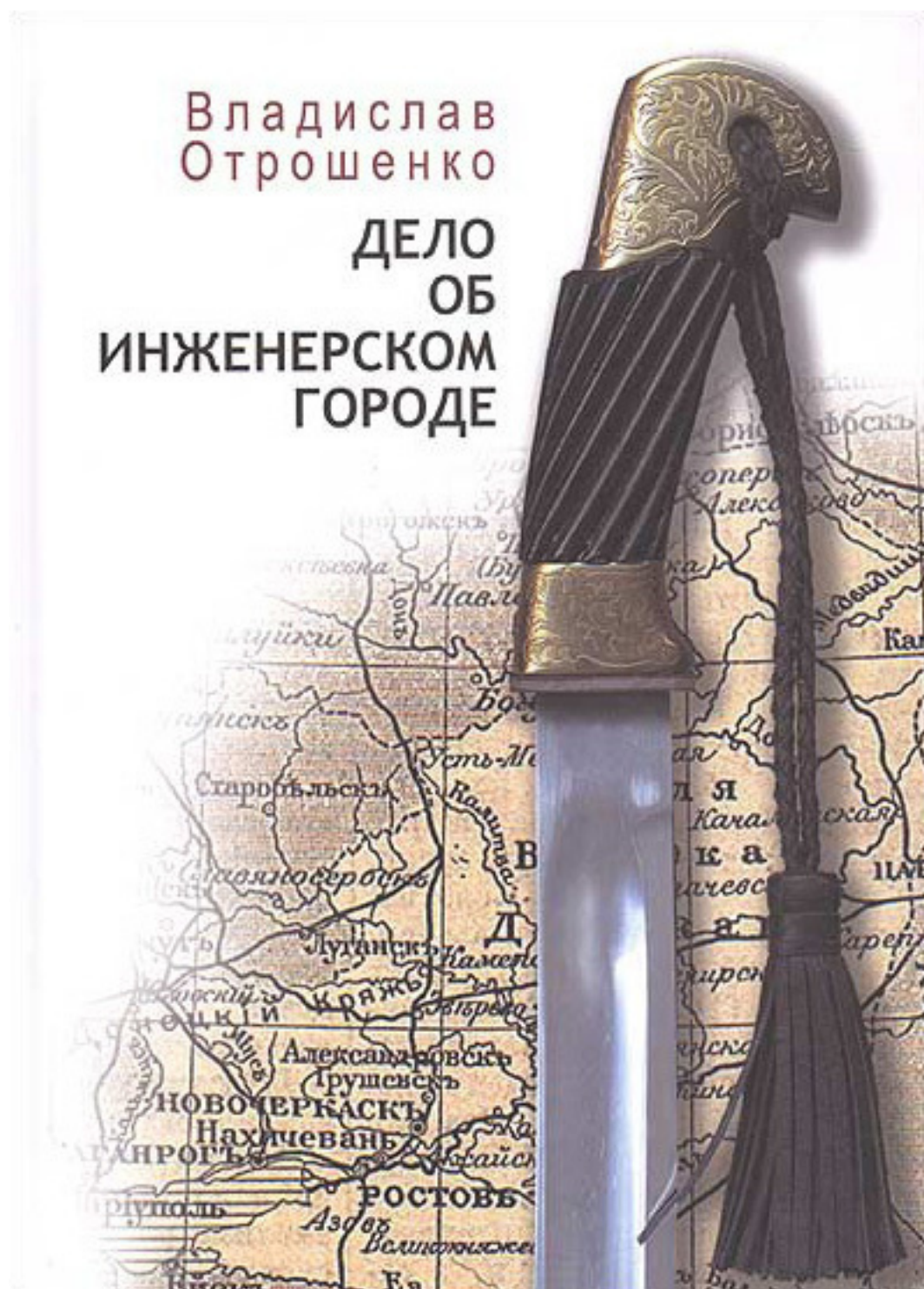


Владислав
Отрошенко

ДЕЛО
ОБ
ИНЖЕНЕРСКОМ
ГОРОДЕ



Владислав Отрошенко

**Дело об инженерском
городе (сборник)**

«Автор»

2008

Отрошенко В. О.

Дело об инженерском городе (сборник) / В. О. Отрошенко —
«Автор», 2008

ISBN 978-5-901238-53-0

Избранная проза и эссе Владислава Отрошенко, впервые собранные вместе, представляют читателю одного из самых ярких русских писателей начала XXI века. История и современность, сталкивающиеся по воле автора на пространствах от Азова до Адриатики, своеобразный стиль, вобравший в себя гоголевский лиризм, казацкую едкость, изящество новоевропейской новеллистики – пролагают новые пути для современной прозы.

ISBN 978-5-901238-53-0

© Отрошенко В. О., 2008

© Автор, 2008

Содержание

Повести	5
Двор прадеда Гриши	5
Шельмы гадские	5
Дурак	6
Сокровища	7
Музыка	8
Видение	9
Счастье	10
Кража	12
Кикимора	13
Тот свет	14
Песня	15
О старателе	16
Новочеркасск	17
Плохая жаба	17
Как у латыша	18
Вареник счастья	20
Майя	22
Печенег	23
Планетарий	26
Восьмой пароход	28
Там	30
Черва	33
Прорицание	36
Персона вне достоверности	41
Прощание с архивариусом	41
1	41
2	45
3	47
4	48
Почему великий тамбурмажор ненавидел путешествия	50
Тайны жалонёрского искусства, или Разоблачение д-ра	61
Казина	
1	61
2	63
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Владислав Отрошенко

Дело об инженерском городе

Избранное

Повести

Двор прадеда Гриши

Повесть из десяти новелл и эпилога

Шельмы гадские

В самом начале весны умер наш сосед Николай Макарович. Вышел во двор чистить снег, махнул туда-сюда лопатой, упал и умер. Прадед мой, Гриша, очень огорчился. Он Николая Макаровича любил. Пил с ним медовуху, учил его с пчелой толковать. Прадед всегда разговаривал с *ней* уважительно, а уж если бранил, то ласково. Ползет в улей – *она* его жалит куда попало, а он приговаривает: балуй мне, балуй! Николай же Макарович ругался с пчелами нещадно. Бывало, только достанет из улья рамку с сотами и уже кричит на весь двор: «А-а-а, шельмы гадские!» Это было его всегдашнее ругательство, без которого Николая Макаровича и представить невозможно. Залезут ли коты к нему в голубятню или черт в трубе застрянет, да что бы ни случилось – он как выскочит со своей клюкой и давай подметать всех подряд:

– А-а-а, шельмы гадские!

Я его за это не любил, то есть за то, что он клюкой дрался. Но больше всего я не любил его за кадык. У него была тонкая, длинная и голая шея. Она всегда торчала из воротника, точно палка из колодца. А на этой шее – представляете? – огромный и острый кадык. Когда он пьет, ест или горланит свою шельму, кадык так и ходит под тонкой кожей, будто там гадина какая ползает, б-ррр! Ну вот я и рад был, что он умер.

Он всё прадеду пенял:

– Зажился ты, Григорий Пантелеевич, когда помирать-то будешь, курва?

А тот отвечал:

– Шут его знает, Коля.

Прадед Гриша был очень старый и не помнил своих лет. Николая Макаровича это забавляло. Иной раз возьмется его донимать: девяносто тебе будет? а сто – будет? Бедный прадед Гриша сидит, глазами хлопает, делает вид, что старается что-то припомнить, а сам даже не сообразит, о чем это Николай Макарович толкует спьяну. Что помереть он когда-нибудь должен, Гриша еще как-то запомнил, – когда? этого даже японский городской не знает, – а вот годы и дни свои он считать позабыл. Да и не отличает он уже день от ночи и год от мгновения, как не отличает меня, своего пятилетнего правнука, от пчел, поросят, куриц и голубей. Плывет его дворик, словно ковчег, в безбрежном океане времени; блуждает по его закоулкам подвыпивший кормчий, и помнит он во хмелю только одно – что в некий час всеобщего пробуждения надо выпустить на волю всю эту излюбленную им живность, открыть клетки, летки, сарайчики и двери дома, где в отдаленной спальне обитает по ночам самое бесполезное, хотя и забавное существо...

В день, когда хоронили Николая Макаровича, прабабка моя, Анисья, потащила меня к нему в дом. За каким чертом? А вот за таким, говорит, что с покойником попрощаться надо.

Я покойников никогда еще не видел, а Николая Макаровича (покойника) и вовсе видеть не хотел, но прабабка сказала, что попрощаться с ним *надо*, и в дом-таки меня затащила. Посреди комнаты на двух табуретках стоял гроб – очень широкий, длинный и мелкий (или плоский? а как еще скажешь?).

Подошли мы к Николаю Макаровичу – я сразу уставился на его кадык (будь он неладен!). Он стал еще острее, как-то окостенел и торчал выше подбородка, сильно вдавленного в шею. Вид у Николая Макаровича был недовольный, злой и даже презрительный.

– Вот торопил, торопил ты Гришу, а-а-а, – неожиданно запела прабабка, не то в укор покойнику, не то в назидание другим дедам и бабкам, которые сидели тут же по лавочкам. – Да са-а-ам первый и по-о-о-ме-е-ер.

И Николай Макарович, как будто соглашаясь с ней и в то же время досадуя, отвечал:

– Что ж, Аниська, помер я, шельмы гадские!

Дурак

Прадед Гриша никогда не ложился спать, потому что давно уже не отличал день от ночи и сон от бдения, давно потерял счет своим годам, а под конец даже имя свое забыл. Иногда он дремал, но только сидя за столом в своем флигельке, и то если случайно забредет в него, блуждая по двору. Взгромоздится на табурет, положит кулаки на стол, уткнется в них лбом – и так сидит час-другой. А потом снова идет во двор, и первым делом к своим пчелам: что-то там работает, дымарем их окуривает, рамки на свет поднимает. К ульям он подходил запросто – шляпу с защитной сеткой не надевал: пчелы его кусали и в шею, и в уши, и в нос, но он укусов не чувствовал. Балуй мне, балуй! Вытащит из улья рамку, облепленную живыми темными гроздьями, поднимет ее повыше и смотрит на солнце сквозь соты, наполненные лучезарной влагой. Бывало, что в этот момент я оказывался рядом (мне не всегда удавалось пробраться к ульям сквозь заросли чайных роз, которые угрожающе взрывались янтарными жужжащими осколками), и тогда кормчий взирал на меня удивленно, долго соображая, что я за живность и откуда я вынырнул – из конуры, из курятника или прямо из летка. А вынырнул я лет пять назад из бездны, на краю которой он стоял. Он смотрел на меня, едва пробудившегося от утробной дремоты и прозревшего в ускользающей вселенной случайные ориентиры – яркие пятна разноцветных ульев, тучных пчел в желтых бархатных сапожках пыльцы, изящных стрекоз и нежно пугливых ящериц, благоухающие розы, прохладную спальню в доме (что еще?), теплую и пахучую мякоть смолы на крышке погреба, кучу песка у ворот – эти ясные и спокойные островки, просвечивающие из темноты непостижимого хаоса, – а я смотрел на него, на свой главный ориентир, на блуждающее божество, медленно погружающееся в пучину небытия; смотрел на его огромную лысую голову, увенчанную по бокам двумя клубками волос, похожих издали на рожки – вблизи в них можно было разглядеть запутавшихся, точно в паутине, пчел, жучков, муравьев, стрекоз и других козявок попеременно с мелкими цветочками, листьями и всяким мусором. Все это еще некоторое время копошилось в его седых волосах, жило своей жизнью, когда кормчий умер, сидя за столом во флигеле в своей обыкновенной позе, – умер, застигнутый на рассвете случайной дремотой. Помню, как прабабка Анисья зашла во флигель и тут же выскочила прочь. Помню, через некоторое время она вернулась и, шаркая за спиной прадеда Гриши, поминутно оборачиваясь в его сторону, что-то невнятно, с укоризной выговаривала ему. Наконец она остановилась, быстро-быстро закивала головой, а затем, выдергивая ее при каждом слове вперед, закричала, закаркала прямо ему в затылок:

– Дурак! Дурак! Умер! Ай, дурак!

Развернувшись, она вышла в сени; долго гремела там ведрами, хлопала дверями – и вдруг снова заглянула в комнату. Увидев, что прадед Гриша все так же сидит за столом, уткнувшись лбом в ладонь, она подскочила к нему и еще решительней повторила:

– Дурак!

С первым утренним ветерком, всколыхнувшим на голове кормчего пряди волос, которые теперь потеряли упругость и развивались как-то вольно, сами по себе, в открытую форточку потянулась процессия пчел. Они залетали, кружились, образуя над его теменем живой нимб, а затем поочередно садились на потемневшую лысину (балуй мне, балуй!) и, исполнив на ней затейливый танец, вылетали вон – взвивались в небо, где сиротливо белел тонкий месяц.

Сокровища

Во дворе прадеда Гриши жил горбатый дед Семен. Ему было триста лет. Он ел уголь и живых раков вместе с кожурою, оттого и жил долго. Прадед Гриша когда-то давно-давно поймал его сетями в речке Бакланцы. Там водились самые большие на свете раки – а горбатый дед Семен был у них царем. Он выбрался из сетей, весь в тине, в ракушках, поднял свои громадные клешни (тогда у него еще были не руки, а клешни) и пошел на прадеда Гришу. Я тебе, говорит, сейчас голову откушу, а не то – бери меня к себе во двор, и буду я жить у тебя веки вечные. Прадед Гриша спрашивает у него: чем же я тебя, чума болотная, кормить буду? А ты мне подавай угля побольше да раков сырых, отвечает дед Семен, вот я и не умру никогда.

Привез его прадед Гриша во двор, и стал дед Семен жить в сарайчике за флигелем, где хранились дрова и уголь. Страшный он был, этот дед Семен. Голова всажена в плечи по самые уши, подбородок, подпираемый узкой и острой грудью, приподнят так, что аж затылок ложится на горб, а руки, огромные и тяжелые, торчат локтями назад и свисают за спиной едва ли не до земли. Больше всего на свете любил дед Семен рубить головы – курам, уткам и гусям. Они так сильно боялись его, что даже без голов убегали от него, бешено хлопая крыльями. А он, свирепея от радости, гонялся за ними по всему огороду, прыгал, как паук, и, падая на землю, ловил их за ноги.

В сарайчике у деда Семена стоял большой кованый сундук. Он на нем спал и ел свой поганый уголь, раскрошив его молотком. А уж охранял он этот сундук зорко и люто, точно пес цепной.

Прабабка Анисья говорила, что в сундуке запрятаны несметные сокровища со дна всех донских рек, что будто бы она сама видела, как по ночам в сарайчик к деду Семену стадами приходят раки из колодца – и каждый что-нибудь несет в клешнях: кто – золото, кто – жемчуга, кто – изумруды. А ежели кто порожний явится, того Семен-горбатый живьем сжирает, затем что он ихний царь и бог, а лет ему не триста – куды там! брешет твой Гришка! – тысяча лет ему, тысяча!

Аниська, кобыла лишайная, то и дело науськивала меня:

– Пойди, пойди к Семену-горбату, заглянь в сундук!

Я тихонько забирался в сарайчик, пока дед Семен приманивал в огороде глупую индюшку, пряча за горбатой спиной огромный топор: це-це-це, моя золотая, иди сюда, я тебе зернышек дам, це-це-це.

В сарайчике было темно и душно. В сдавленных плоских лучах, пробившихся сквозь щели, сверкала угольная пыль. Я долго вглядывался в дальний угол, пока там не проступал затаившийся во мраке Семенов сундук. На крышке висел толстый замок (пропади он пропадом!). Стараясь не шуметь, я упорно дергал его, но он не поддавался, крепко закусив в своих надменно раздутых щеках железную скобу. И вдруг голова моя озарялась изнутри яркой трескучей вспышкой.

– Что, антихрист! – слышалось мне сквозь звон, плавающий в ушах. – Еще подзатыльника, ай хватит?!

Какой там – еще! Хватит до черта. Я мигом вылетал из сарайчика, не дожидаясь, когда дед Семен надумает совсем отрубить мне голову.

Однажды Семен-горбатый так сильно замаялся от жары, что ему стало неважно ползать по суше. Он кувыркнулся в колодец вслед за ведром – одни только сапоги мелькнули.

Во двор он больше не возвращался – уплыл в Бакланцы к своим ракам, а сундук взять позабыл. То-то мы обрадовались с прабабкой Анисьей. Побежали в сарайчик смотреть сокровища. Сбили замок с сундука, подняли крышку: сундук был до краев набит толстыми книгами, сплошь залитыми воском и перепачканными углем.

– Тьфу, сатана горбатый! – досадовала Аниська. – Нешто он их все перечитал?

– А про что в них написано? – спросил я.

– Про што-пошто! – передразнила меня Аниська. – Про то и написано, как сокровища в куриный помет превращать. Видишь, сколь его тут кругом! Это всё – жемчуга да изумруды Семена-горбатого. Он их заколдовал от людского глаза. Бери корзину, собирай! Снесем помет к Усатой ведьме, пусть она над ним поморокует.

Целый день я ползал по сарайчику, тускло освещенному керосиновой лампой, – собирал заколдованные сокровища. К вечеру я выбрался из него с полной корзинкой. Двор, весь залитый лунным светом, исполосованный длинными тенями, представился мне незнакомым и чудным. Я с опаской крался по кромке огорода мимо колодца. Мне казалось, что вот сейчас из его темной утробы извергнется громовыми раскатами голос горбатого деда Семена:

– Куда несешь мои сокровища, антихрист проклятый! Или тебе неведомо, что я, царь Семен, бог всех раков на свете, могу превратить тебя, анчутку поганого, в дохлую курицу!

Музыка

Прадед Гриша любил по вечерам слушать граммофон. Выносил его из флигеля, ставил на табуретку посреди клумбы и заводил музыку. Сам он в такие вечера являлся во двор в начищенных сапогах, в синих шароварах с красными лампасами и с пашкой, подвешенной на ремешке через плечо. У прабабки Анисьи от такого его вида кишки переворачивались. Она скакала по двору, плевалась и восклицала, стараясь перекрыть музыку:

– Тьфу, тьфу, видали вы его! Видали! Казак вырядился! Хо-хо! А где же твой чуб, казак? Черти съели и мозгами закусил – одна плешь осталась!

Прадед Гриша тем временем чинно сидел на маленькой скамеечке, подставив ухо к трубе, и сосредоточенно слушал звуки, которые один за другим вылетали из темного отверстия. Засовывать туда голову, как ехидно советовала прабабка Анисья, он, кажется, не собирался. Напротив, ее коварные подстрекательства настораживали кормчего: в трубе сидели науськанные прабабкой Анисьей черти, и если бы прадед Гриша время от времени не отдергивал голову, они бы наверняка ухватили его за пучок волос, клубившийся над ухом.

Во дворе никто не осмеливался подступить к граммофону, хотя осаждали его беспрестанно – куры, голуби, коты, кабаны и прабабка Анисья. Гриша страшал их, потрясая длинной клюкой. Если же кто-нибудь из этой своры, которая шастала вокруг граммофона с одной только целью – как-нибудь повредить или испакостить его, – оказывался слишком близко, прадед Гриша немедленно пускал в ход свою палку и тогда уже угощал всех подряд, а прабабку Анисью в особенности. Зная это, она все время держалась в тылу вдохновляемой ею шайки вредителей, и лишь иногда, когда потерявшему бдительность стражнику случалось задремать, она, осмелев, выскакивала вперед, грозя сокрушить его крепость. Но кормчий, на беду прабабки Анисьи, неожиданно пробуждался и вынуждал ее поспешно отступить со всем ее воинством. Возглавляя бегство, Аниська неслась по грядкам и клумбам, пританцовывая и путаясь в своих юбках.

Между тем голос из трубы (похожий на мужской) кого-то страстно и жалобно укорял, чего-то требовал, рыдал, по-видимому, очень сильно обиженный. Потом он вдруг запел надменно и властно: очевидно, ему пришлось на ум отомстить за свою обиду. Ободренный этой

мыслью, он даже начал было злобно прихихатывать и изрекать какие-то страшные клятвы. Но тут же забыл их, и стал слезно молить о прощении, уверяя, что его угрозы были всего лишь шуткой и что он по-прежнему сильно обижен и оттого очень несчастен. Другой голос (несомненно женский) ответил ему – но так, как будто он ни в чем не виноват. Он изо всех сил старался изобразить, что он еще несчастнее первого голоса. Тот с ним не соглашался, что-то вставлял, пытаясь, как видно, напомнить о своих обидах. Так и не договорившись, кто же из них несчастнее, они вдруг запели вместе – но каждый о своем, совсем не слушая друг друга. Они пели все громче и неистовей, обращаясь наперебой к прадеду Грише; они требовали, чтобы он немедленно рассудил их. Но кормчий уже не слушал их взаимных упреков, жалоб и наветов. Его одолевала дремота, нахлынувшая на него внезапной волной из темной бездны, которая день и ночь отвоевывала для себя этот блуждающий остров, размывая его дремучие берега, пока однажды на рассвете не поглотила его целиком.

В сгущавшихся сумерках прадед Гриша сидел неподвижно, опершись на рукоятку шашки и свесив на грудь лысую голову с рожками курчавых волос, где сонно копошились, устраиваясь на ночлег, пчелы, стрекозы, жуки и кузнечики.

Меня, как и всю дворовую живность, Гриша не подпускал к граммофону, и я мог смотреть на этот заветный ящик только издалека.

Когда же прадеда Гришу унесли со двора под грохот барабана и пронзительный вой трубы в сопровождении длинной колонны дедов и бабок, которых Аниська натаскала к нам со всей округи прощаться с покойником Гришей, я первым делом выволок во двор граммофон, отыскав его в темном углу опустевшего флигеля, где стоял ровный запах растоптанных цветов и свежих простыней. До позднего вечера я разбирал граммофон на части, орудуя кочергой и лезвием тяпки. Я выпотрошил из него все внутренности, но так и не извлек на свет таинственных голосов. Те двое, которые много лет пререкались, осыпая друг друга то нежными жалобами, то проклятиями и угрозами, стинули вместе с прадедом Гришей.

Видение

Прабабка Анисья (чтоб ей лопнуть!) посылала меня к Усатой ведьме покупать семечки. Ведьма сидела на высоких каменных ступеньках у дверей своего дома, подпирая коленями громадный живот, туго обтянутый насквозь прожженным, перепачканным сажей фартуком. Из распахнутых дверей, занавешенных грязной марлей, валил благоуханными клубами горячий дым; лоснясь на солнце, он пропитывал знойный воздух жирным запахом раскаленных сковородок и противней. В доме Усатой ведьмы было полно чертей. Они жарили семечки, а ведьма их продавала – сыпала в карманы, в подолы, в фуражки – кому куда.

Пока я взбирался к ней по крутым ступенькам, она, казалось, не замечала меня. Тускло-желтые глаза ее, облепленные комарами и мухами, были полуприкрыты. Ведьма протяжно храпела, содрогаясь, точно скала, и покачиваясь в медленных волнах марева. В широких и редких усах ее, в глубоких складках на шее мутно блестели крупные капли пота. Я осторожно вкладывал в ее ладонь прохладные монетки, и ведьма с неожиданной проворностью хватала меня за пояс штанов.

– В карманы стервецу! В карманы! – страшно вопила она.

И карманы мои разбухали, наполняясь дымными и горячими, как угли, семечками; они припекали мне низ живота и яички, – казалось, штаны мои вот-вот запыхают от этих чертовых семечек. Я вырывался и бежал прочь, ощущая пятками сухую колкость раскаленной земли.

– Стой, стой, сукин кот! – кричала ведьма мне вдогонку. – Скажи Аниське, умрет она скоро. Завтра умрет, дышло ей в валенок! Я приду ее мыть-наряжать.

Прабабка Анисья, с ног до головы засиженная курами, засыпанная пухом и перьями, валялась на раскладушке в темном зловонном курятнике; с некоторых пор она не вылазила из

него ни днем ни ночью, потому что там ей было прохладней, и домовый не приходил ее душить, а только заглядывал в маленькое окошко, чихал, плевался и, напугавшись разбуженных петухов, убирался восвояси, страшно злой на Аниську.

Я заскочил в курятник, приплясывая от радости, и с ходу сообщил Аниське, что больше не буду таскать ей семечки от ведьмы.

– Эт еш-шо почему?! – всполошилась Аниська.

– Потому что ты завтра умрешь совсем, и тебя снесут куда-нибудь со двора.

– Ну да! – изумилась Аниська. – А Гришка-то наш помер чи лазит где-сь по двору? Чёй-то я не видала его.

– Давно уже помер, – отвечал я. – И Николай Макарович помер. Все померли. Одна ты еще не померла. Иди мойся и наряжайся, а то ведьма придет, схватит тебя за волосы и будет окунать в бочку с водой, как кошку драную.

На следующее утро соседские деды, негромко переговариваясь и угрюмо командуя друг другом, вытащили прабабку Анисью из курятника и понесли в дом на ветхом одеяле; оно туго и глубоко провисало от неподвижной тяжести.

К полудню во дворе собралось множество дедов и бабок. С выражением грозной деловитости на лицах они вольно расхаживали по дому, по флигелю, топтались у распахнутых настежь ворот. Аниська, чистая и нарядная, в белой косынке, из-под которой торчала, накрывая лоб, бумажная лента, лежала в коротеньком тесном гробу, приютившимся на табуретках под вишней в жидкой дремотной тени истомленного зноем сада. Усатая ведьма сидела рядом на низенькой скамейке и неспешно раскуривала папиросу, пуская из ноздрей шумные струи дыма.

– Было мне видение, Аниська, – рассказывала она, наклоняясь ко гробу. – Пришла ты ко мне и тихим таким голосом просишь: дай мне, Варвара Андреевна, мыло и белый полотенчик. А на что они тебе, спрашиваю. Хочу, говоришь, Гришку помыть. Он, прохвост, напился пьяный и в помойную яму свалился – вымазался весь, как собака. Да что ты, говорю, дура старая надумала? Он же-ть помер давно, я сама его мыла и одевала ко гробу, а гроб той закопали глубоко-глубоко. А и ничиво, говоришь, что помер. Я вот возьму лопатку, откопаю его и намою, напарю его косточки, будет ему, дурню, веселей. Проснулась я и думаю – помрет Аниська, туды ж ее мать. Вот ты и померла, козочка. Отскакалась. Отнесем тебя, закопаем рядом с Гришкой – тот-то напаришь его, балбеса.

Прабабка Анисья слушала Усатую ведьму и чему-то внутри себя ласково улыбалась открытым ртом и запавшими глазами.

Счастье

Ходил по дворам с попугаем Егором Феликс – слепой шарманщик. Глаз у Феликса не было с молодю. Он сам себе их выколол от сильной любви. Полюбил одну красавицу – а она оказалась княгиней. Когда Феликс был молодой, у нас в станице еще водились княгини – злые такие красавицы: как кто полюбит их, так и смотрит на их красоту, пока не умрет. А эта была до того красивой и гордой, что и смотреть на нее не было сил. Взял тогда Феликс и выковырял свои глаза острым ножиком, чтоб совсем не умереть от любви к той княгине. А на зло ей сделался шарманщиком, хоть и сам был большой генерал. Он так и ходил по дворам в генеральской форме – в длинной серой шинели и в фуражке с лакированным козырьком; не снимал их ни зимой, ни летом, потому что под шинелью был он совсем даже голый, а фуражка Феликсу всегда была нужна – в фуражку ему денежки бросали.

Феликс продавал свистульки из глины, колокольчики, дудочки, барабаны и шарики из разноцветной фольги на резиночке. Как занесет он всё это во двор – и сразу делается во дворе очень шумно и весело. Шарманка играет без умолку – дринь-ля-ля, дринь-ля-ля! Попугай орет во всю глотку: «Ждрасти, народ! Феликш-ш пришел!» А Феликс крутит и крутит свою шар-

манку, звенит в колокольчики, играет в дудочку, ударяет тросточкой в барабаны. Дринь-ля-ля, дринь-ля-ля!

А еще продавал Феликс счастье. Про счастье он знал все – какое оно и сколько его на свете. У Феликса этого счастья была целая коробка. Бывало, спросят его:

– Ну что, Феликс, счастьем будешь торговать?

– А то как же! – улыбается Феликс. Сам улыбается, поворачивая лицо во все стороны, а глаза его – мертвые ямы – молчат, точно каменные, и ничуть не улыбаются, хоть и пляшут над ними задорно, играют и веселятся во всю широкие светлые брови.

Достанет Феликс из мешка заветную коробку и спросит у попугая:

– А что тут у нас, Егорушка, в коробочке?

– Щастье! Щастье! – кричит попугай. И деловито вышагивает по Феликсову плечу; важно, вертит головкой, хлопает крыльями.

– А кому мы дадим счастье, Егорушка, кому?

Попугай выхватит клювом из коробки бумажку, свернутую в трубочку, и давай летать с нею по двору. А в бумажке той написано про счастье – какое оно и сколько его на земле.

Все зовут, манят к себе попугая:

– Сюда, Егор, сюда! Я тебе гривенник дам!

– Лети ко мне, Егор! У меня полтинничек!

– А рублика хочешь, Егор! А ну-ка, рублик у меня!

Рублик всегда был у деда Семена. Ему и счастье всегда доставалось. Сядет попугай прямо к нему на голову, изогнется весь и сует ему под фуражку счастье. Запихнет его поглубже, да еще притопчет лапами. Береги, мол, дед Семен, свое счастье. А потом спрыгнет к нему на колено и сидит смирно – рублика ждет. Дед Семен полезет в штаны, достанет целую горсть разных монеток – и медных, и серебряных. Попугай разгребает их клювом, на медные монетки злится, швыряет их по сторонам, а как рублик найдет – хватить его в клюв – и к Феликсу в фуражку. Тут уж все смеются и хвалят попугая:

– Ишь ты, мошенник, рублика знает!

Старики накупят мне у Феликса и шариков, и дудочек, и свистулек, – но Феликс всё еще не уходит со двора. Поигрывает на шарманке. И вдруг начинает петь про свою княгиню. Он поет молодым девичьим голосом; широко открывая рот, выталкивает из груди сильные пронзительные звуки, и громкая песня его разносится по всей округе:

Ваша светлость, княгиня Орлова!

Вас любил удалой есаул.

Был он вашей красой очарован,

Был он весел, беспечен и юн!

А теперь он шарманщик убогий.

По дворам волочит он суму,

Он пришел поклониться вам в ноги,

Христа ради подайте ему!

О любви он не молит, как прежде,

Не клянет своих тягостных мук.

Вам шарманка поет о погибшей надежде,

Христа ради подайте ему!

Замолкая на минуту, Феликс наклоняет лицо к шарманке и жадно слушает однообразный и неутолимо горестный мотив, безучастно kloкочущий в ее звонких внутренностях.

«Дринь-ля-ля! Ля-ля! Дринь-ля-ля!» – стрекочет шарманка. Феликс неожиданно вскидывает голову и, сильно раскачивая ею, вытягивая шею, поет куда-то в небо:

Не рассеете мрак вечной ночи
Ненаглядною вашей красой,
Черный нож исцелил его очи,
Напоив их кровавой слезой.

«Дринь-ля-ля! Ля-ля! Дринь-ля-ля!»

Словно упиваясь охватившим его отчаянием, Феликс все быстрее и быстрее поворачивает ручку, заставляя шарманку издавать звуки, исполненные безнадежно ликующего веселья:

Так зачем же приходит к вам снова,
Молит вас о любви есаул?
Ваша светлость, княгиня Орлова,
Христа ради подайте ему!

Собрав из фуражки монетки, Феликс уходит со двора, увозя за собою тележку с шариками, барабанами и свистульками.

А через несколько минут откуда-то из соседних дворов снова доносятся возгласы попугая: «Щастье! Щастье!» И снова поет Феликс о любви, о своей ненаглядной княгине и о вечной ночи.

Кража

Прабабка Анисья не пускала Гришу в дом ни зимой, ни летом.

– Чё ему там делать, – говорила она. – Пусть вон шлындает по двору.

А прадед Гриша любил захаживать в дом – смотреть на китайских болванчиков. У Аниськи их было пропасть. Они толпились на этажерках, восседали на полке над кожаным диваном, выглядывали из буфета и горки. Дамы в пурпурных и ярко-зеленых одеждах, оцетинившись высокими воротничками, жеманно качали головками и ажурными веерами; им кивали толстые полуголые кавалеры в разноцветных браслетах и бусах с мясистыми ушами, свисающими на круглые плечи.

Болванчики так сильно забавляли кормчего, что он мог бы часами любоваться их пляской, раскачивая этажерку или буфет, если б только прабабка Анисья не выталкивала его потихоньку вон из дома.

Однажды прадед Гриша взял мешок, собрал в него болванчиков – всех до единого – и унес к себе во флигель. Аниська хватилась их – да поздно. Кормчий заперся с болванчиками во флигеле и ни за что не хотел выходить. Прабабка Анисья бегала по двору и кричала что есть мочи:

– Гришка, лысый черт, обокрал меня дотла!

Прадед Гриша расставил болванчиков на столе; двоих, самых невзрачных, он кинул в форточку Аниське, думая, что она уgomонится. Но прабабка Анисья озлилась еще больше. Она схватила дымарь, разожгла его и принялась выкуривать Гришу из флигеля, пуская струи дыма в широкую щель под дверью.

Дым был кормчему нипочем. Он сам его глотал из трубки. А дымарем окуриваться даже любил. Бывало, раскочегарит его так, что аж искры летят из носика, и ходит с ним между ульев – то на пчел его направит, то на себя. А если я подвернусь, он и меня обдаст душистыми клубами, воображая, что я какая-нибудь диковинная пчела.

Не замечая, что во флигеле уже темно от дыма, Гриша сидел за столом и развлекался болванчиками; он бахал ладонью по крышке стола, и все собрание дружно приходило в движение. Каждый показывал Грише, во что он горазд: один нырял головкой в плечи, другой размахивал пухлыми ручками, а иной сидел и раскачивался из стороны в сторону, изображая мудреный танец. Из всех болванчиков кормчему нравились те, что были ярче раскрашены, потому что они бодрили его старые глаза, в которых день ото дня меркли все краски полуденного мира, дробясь и расплываясь тусклыми осколками.

Убедившись, что Гришу не выкурить никаким дымом, прабабка Анисья Привела из загона огромного кабана, самого злостного участника наскоков на Гришин граммофон; он был предан Аниське всем сердцем, а Гришу угрюмо ненавидел за то, что тот чаще других угощал его палкой. Аниська разогнала кабана во всю прыть, пихая его ногами в задницу, и он с воинственным визгом въехал всей тушей во флигель, проломив дверь с одного удара. Кормчий, застигнутый врасплох, не сдвинулся с места. Аниська ворвалась во флигель, сгребла у него под носом всех болванчиков к себе в подол и радостная побежала с ними в дом, тыкая дулей во все стороны.

Кикимора

Бабку Муху, нечисть ехидную, давно надо было прогнать со двора, чтоб она умерла где-нибудь и закопалась в могилу. Это была Аниськина бабка Муха. Аниська сама ее родила, обьелась до коликов ведьминых семечек и выродила на свет эту кикимору.

Бабка муха с Аниськой так сильно полюбили друг дружку, что даже целовались однажды. Аниська первая целовала Муху в ее безобразную рожицу с маленьким острым носиком и раздутыми, точно шарики, щеками, целовала и приговаривала:

– Христоси воскреси! Христоси воскреси!

– Воистину воскреси! – поддакивала бабка Муха. И целовала Аниську, поднимаясь на цыпочки, чтоб дотянуться до ее подбородка. А потом, изловчившись, ударяла Аниську по лбу пурпурным яичком; Аниська вместо, того чтоб обидеться, сияла от радости и угощала бабку Муху пряниками и конфетами, подносила ей медовуху в граненой рюмке, а Муха кланялась ей и бормотала скороговоркой:

– Дай Бог тебе здоровьица, Анисья Семеновна.

Муха и Гришу била яичком по лбу, воображая, что он даст ей за это медовухи или пряничка. Но прадеду вовсе не нравилось, чтоб об его лоб кололи яйца. Он страшно злился и отгонял бабку Муху, ругая ее курвой.

Бабка Муха ничего не делала целыми днями, а только шастала с бидончиком во флигель и воровала у Гриши мед. Гришиным пчелам от этого было очень обидно. Они люто ненавидели бабку Муху и воевали с ней неустанно. Бывало, так покусает ее, что у нее вся рожица светится красными шишками.

Вот она и взялась однажды губить Гришиных пчел. Разложит возле ульев арбузных корок, пчелы насядут на них полакомиться, тут она как выскочит из-за кустов и давай топтать их ногами. Пока другие пчелы опомнятся да разберутся, куда ее, зануду, кусать побольней, она уже шаст в погреб, закроется там и сидит молчком, выжидает, когда пчелы позабудут про ее злодейство.

Подавила она таким ехидным манером великое множество пчел.

Кормчий прознал об ее пакостях и очень огорчился. Стал он думать, как бы известить бабку Муху со двора. Хотел было отдать ее Николаю Макаровичу, чтоб он посадил ее на цепь вместо издохшего кобеля, пусть, мол, она бегает у тебя по рыскалу и гавкает на всех день и ночь. Но Николай Макарович сказал, что у него своей нечисти полный двор – одних чертей в трубе сто штук сидит.

– На кой мне хрен кикимору еще заводить? Воюй с ней сам, Григорий Пантелеевич!

Пошел тогда прадед Гриша к домовому. Домового нашего звали Ефрем Савельевич. А жил он в низах – в особой комнатке под половицами. Днем он там пил чай от скуки, а ночью ходил душить Аниську – навалится на нее, огромный такой, лохматый, и давай ее пытать: чего тебе, Аниська, дать? Мешок золота или мешок дерьма? Как скажет она – золота! – так он ее душит, аж кости у нее трещат; а как закричит – нет! нет! Ефрем Савельевич, батюшка родный, дерьма давай, дерьма! – так он ее отпускает. То-то, мол, Аниська, смотри у меня!

Поклонился прадед Гриша домовому и говорит:

– Научи меня, Ефремка Савельевич, как мне от Мухи поганой избавиться. От нее ж, подлюки, житья моим пчелам нет: вон уж сколько передушила их, хоронить друг дружку не успевают.

Отхлебнул Ефрем Савельевич чайку, попыхтел, пофыркал и говорит:

– Ступай себе, прадед Гриша, во двор и не тужи, а я с твоей кикиморой сам, так и быть, потолкую ночью.

– Ладно, – согласился прадед Гриша, – потолкуй. А я тебе за эту услугу медку под половицы налью – будет тебе, Ефрему Савельевичу, сладко чаек свой пить.

На том и порешили.

Спала бабка Муха в доме на полу, а на оттоманке спать не хотела, потому что над оттоманкой висела Гришина шашка. Муха боялась ее, как черта.

– Кто-е знает, – говорит, – а ну как эта гадина соскочит со стенки и зарубает меня на куски.

Вот и явился Ефрем Савельевич бабке Мухе в образе шашки.

Наутро она рассказывала Аниське:

– Вознёсси надо мной, Анисья Семеновна, меч Господний... Гляжу сёдни ночью, блеснуло чёй-то в уголку. Никак, думаю, светляки налетели в хату. Или померещилось чего со сна? Перекинулась на другой бок, а оно – вот оно: в другом уголку сверкает. Тьфу, напасть, думаю, светляки! Дай-ка встану, пошурую их метелкой. Как вдруг вижу, выплывает из угла меч, весь будто огненный. И летит он сам собою по воздуху... Да прямо на меня летит – и надо мной останавливается. Я туда, сюда – он за мной. Всю-то ночь металась я от него по полу, ажнок взмокла вся... А никуда от него не деться, ибо он меч Господний и волю Его творит. Прибрать меня решил Отец наш небесный, знак мне подает... Пойду я от вас со двора, Анисья Семеновна, поищу себе местечко на погосте да там и останусь.

К вечеру Муха собрала в узелок свои тряпки, поклонилась всем, даже кобелю, который маялся от скуки возле будки, и поплелась тихонько за ворота, кроша на землю мелкие слезки. Видно, жалко ей было расставаться с душистым Гришиным медом, с его светозарным двором и залазить на ночь глядя в темную могилу.

Тот свет

Кум дед Проня заползал во двор на четвереньках – до того он хмелел от медовухи, что ему скучно было ходить на двух ногах. А приползал он затем, чтоб рассказать Аниське историю, каждый раз одну и ту же: про то, как он повесился на чердаке.

Прабабка Анисья говорила, что у нее от этой истории печенка наружу выворачивается, так она ей осточертела. Но отвязаться от кума деда Прони не было никакой возможности: пока не расскажет, домой не уползет.

Вот, это, Аниська, надумал я повеситься... Слушай сюда.

– Хай тебя черт забодает! – возражала Аниська. – Чё мне глаза твои залитые слушать?!

– Вот именно – черт! – радостно подхватывал дед Проня. – Черт меня и подслушал. Я только подумал ету думку, а он уж и обрадовался. Вот и хорошо, говорит, Прокопий Никитич,

вот и молодцом ты надумал. Мы тебя и повесим аккуратно. Ты только думай, говорит, свою думку, а мы уж всё исполним по совести. Ладно. Слушай сюда. Теленькаюсь я, это, ночью с поминок, а чьих – уж не помню. Темень кругом собачья, дороги не видать. Хотел я было прилечь где-нибудь, полежать маленько до света. Тут меня хватают под руки какие-то чудики. Побежали, говорят, скорей, Прокопий Никитич, пора! Погоди, говорю, вы кто? Анчутки, что ли? Так точно, анчутки и есть! Только, мол, некогда нам, Прокопий Никитич, здороваться – поспешать надо, бегом бежать. Как же – бегом? – говорю. У меня вон и ноги устали телепаться. А ты подгибай их, Прокопий Никитич, мы тебя под руки мигом снесем. Слушай сюда. Подогнул я ноги, а тут и третий анчутка вынырнул, ихний товарищ. Подлез он мне промеж ног, подлец, и оказался я на ём верхом. Вот и понеслись мы все вчетверёх – да так скоро, весело, с прискоком. Я верхом, те двое под руки меня держат да товарища своего погоняют, ай-лю-ли! Въехали мы во двор. Слышу, они меж собой совещаются: куда его? на чердак, что ли? Давай на чердак. Не желаешь ли, говорят, Прокопий Никитич, на чердаке приладиться? А хоть и на чердаке, говорю, бог с вами. Взметнулись мы туда по лесенке – пока я очухался, они уже всё наострили, поганцы, и веревку подвязали, и скамелечку подставили. Ну, говорят, Прокопий Никитич, погибай, задушевный ты человек! А мы тебе спляшем напоследок. Тут их повылазило со всех углов – анчуток-то етих – видимо-невидимо! Как взялись они хоровод водить да гоцать по чердаку вприсядку, аж крыша вся закачалась. Вот я под эту музыку и ухнул в петельку... А как снимали меня – не помню. А только говорят, что бабка моя топотню услышала, проснулась да подняла весь дом – успели меня выдернуть теплого еще...

Кум дед Проня замолкал, стягивая нижней губой с усов сладкие и горячие от медовухи слезы. Глаза его влажно искрились и смотрели прямо перед собой, будто в стену.

– Я ведь, Аниська, тот свет видел, – припоминал дед Проня.

– Ну и чё там, на том свете? – нехотя интересовалась прабабка.

– Темно там, Аниська, темно и безобразно!

Песня

Всем было жалко, что прадед Гриша умер – и бабкам, и дедам. Они сидели во флигеле кормчего и пели грустную песню о нем.

– Бедный прадед Гриша, – пели они, – зачем же ты, родненький, лежишь в гробу? Зачем не ходишь по двору? Там вон пчелы твои жужжат и горюют – не знают, куда без тебя лететь. Ай-ёй, бедный прадед Гриша!

Маленький сторбленный дед, сидевший возле печки, не знал, как надо петь песню, но ему тоже было жалко прадеда Гришу, и он усердно тянул один звук, приладив его к общему хору:

– Ай-ёй! Ты вставай, прадед Гриша, иди и спрячься в сарайчике у Семена, а мы положим во гроб полено, накроем его простыней да снесем со двора вместо тебя.

Гроб стоял на столе. Кормчий лежал в нем, протянувшись всем ростом: какая-то неумолимая сила вдавила, вмяла его могучие плечи и голову в широкую подушку, припечатала к белой наволочке сплюсненные клубки волос.

Во флигеле было светло от оголенных окон, но бабкам и дедам хотелось еще больше света, они держали в руках зажженные свечи, излучавшие тонкие ароматные струи тепла. Трепетные огоньки отзывались нежным мерцанием на их голоса.

– Слышишь ли ты нашу песню, прадед Гриша? Слышишь, как воет у печки маленький дед? Если слышишь, то хоть бы рукою пошевели, хоть бы глаза приоткрой на минуточку. Ай-ёй!

Деды пели сдержанно; едва шевеля губами, они гудели в усы и бороны. А бабки все разом ударяли звучными голосами, отдергивая вниз маленькие круглые подбородки.

– Крепко ты задремал, прадед Гриша, – пели они, – так крепко, что стал покойником. И вот мы пришли прощаться с тобой, ай-ёй, прощаться с покойником Гришей.

Прабабка Анисья сидела у гроба с красными осохшими глазами; она все еще злилась на кормчего за то, что он придумал себе умереть, она злилась, но песня о прадеде Грише источала в ее сердце животворную нежность, и Аниська, забывая обиду, пела со всеми вместе:

– Хотя ты и умер зачем-то, старый наш прадед Гриша, а мы тебя все равно любим, прощаем и отпускаем – иди совсем со двора, раз тебе так захотелось увидеть тот свет. Только брешет кум дед Проня, что будто темно на том свете. Как же – темно, раз он свет?

– Узрим свет! – протянул кто-то из хора.

И грянула во флигеле кормчего песня о свете. Она нарастала, голоса, набирая силу, звучали все громче и решительней. Деда и бабки пели уже не с тихой грустью, но с торжествующей яростью.

О старателе Эпилог

Двор прадеда Гриши – знойное царство пчел и стрекоз! Озаренный светом памяти, встает из мрака сияющий остров, и каждая былинка в нем, дивно преображенная, вызывает призраком истлевшей радости. Тщится неутомимый старатель достичь ничтожного этого лоскутка земли, отторгнутого пучиной времени, проникнуть в его золотоносные недра.

Старатель, старатель! Он жаждет счастья, любви и радости, и нет ему дела, где обретаются их драгоценные россыпи – в настоящем, в былом или в будущем. Он стремится туда, где они блещут ему вернее всего.

Двор прадеда Гриши! Отыскав тебя в сумраке отдаленных дней, явился к тебе неожиданный пришелец, житель иных, неведомых тебе времен. Уязвленный тоскою, стоит он у твоих ворот, как некогда стояли здесь просящие подаяния шарманщики, побирушки, бродяги. Старатель, старатель! Смотрят на него удивленно старческие лица, смотрят и не узнают в нем бывшего обитателя светозарного оазиса. Здравствуй, здравствуй, двор прадеда Гриши! Здравствуйте, Анисья Семеновна, Григорий Пантелеевич, Семен Алексеевич и Ефрем Савельевич. Здравствуйте, бабушка Муха, Феликс Аркадьевич, Варвара Андреевна и Николай Макарович. Здравствуйте, жившие и труждавшиеся на этой земле. Чем одарите вы незваного гостя на светлом празднике вашего воскресения? Чем вознаградите труды старателя? Он извлек из реки забвения золотые крупницы вашей жизни! Простите ли вы его за то, что он, утратив право на беззаветную вашу любовь, дерзнул говорить и мыслить о вас на языке любезного вам дитяти, в душе которого едва прозябало зыбкое ощущение бытия, – за то, что он, утратив былую способность смотреть на вашу жизнь светлым оком, не замечая в ней трагизма и неизбежных страданий, дерзнул лепетать с веселой беспечностью о старости, смерти и разрушении.

– Бог тебя простит, старатель. Ступай, ступай со двора! Если ты и есть то дитя, что мерцало нам зыбкой звездочкой, освещая темные дни нашей старости, ты уже взял у нас все, что смог, и большего не возьмешь. Ступай, ступай, откуда ты пришел. Живи в своем настоящем мгновении, коим ты пренебрег, как пасынком, ради призраков, взлелеянных памятью. Ибо там, в твоём настоящем, пребывает вовеки немеркнущий свет, там вечный праздник нашего Воскресения.

Новочеркасск Повесть в рассказах

Плохая жаба

– Ты всё, батюшка, в одной поре, – говорили Троне нищенки, сидевшие на паперти Войскового собора. Троня тоже там иногда сидел среди нищенок – сидел спокойно, прямо, положив руки на колени и глядя куда-то в пространство соборной площади, открытой ветру и солнцу. Он мог часами сидеть так, не обращая внимания ни на нищенок, ни на добротнo одетых старух, которые терпеливо и аккуратно, стараясь не заслонять ему зрелища, топтались рядом с ним, протягивая ему время от времени маленькие узелки, зажатые в ладонях.

– Возьми у меня, Трофим... У меня возьми, – повторяли старухи тихо и монотонно, опасаясь Троню спугнуть: в любую минуту он мог подняться и уйти от собора прочь, не взяв узелок ни у кого.

В узелках были завернуты жабы.

Троня вдруг вставал решительно – так, словно собирался двинуться в путь. Но никуда не двигался. Выхватывал узелок у какой-нибудь старухи, разворачивал жабу и поднимал ее высоко двумя руками за передние лапки. Какое-то время он смотрел на нее с интересом. А потом вдруг шмякал ее о гранитные ступеньки, так, что она разлеталась в брызги, и говорил старухе быстро-быстро:

– Плохая у тебя жаба, скоро сдохнешь, иди домой, становись коромыслом, жопу печке показывай!

И старуха отходила, нисколько не обижаясь на Троню; пятилась вниз по ступенькам, кланялась – благодарила его за верную весть.

Благодарили Троню и другие старухи – те, которых он бил живой жабой по лбу и по щекам.

– Благословляет! – радостно объясняли они друг дружке. – Еще поживем.

– А сам-то он – сколько живет? – спрашивал я у старух, пользуясь случаем: бабушка иногда посылала меня к собору, чтобы я отыскал там Троню и довел его до дома, – ей воображалось, что Троня, любивший ходить по улицам скорым шагом и в одном направлении, нечаянно выйдет из города в степь по Крещенскому спуску и будет идти и идти – до Кавказских гор, до Черного моря.

– А ты вот у него самого и узнай – сколько... Или – у бабушки своей, – мирно отвечали мне одни.

Другие же отвечали недружелюбно.

– Нисколько. Никогда не рождался, никогда не умирал, – говорили. – Ступай себе, ступай...

Но я и не думал «ступать». Позабыв о бабушкином поручении, я принимался дразнить неприветливых старух.

– Все рождаются и умирают, – пререкался я с ними. И азартно крутил им дули в ответ на их возражения; пугал их плохими жабами, особенно ту – маленькую, остроносую, с индюшачьими щеками, катавшимися по воротнику черного бархатного жакета, – которая тараторила злее всех, мотая головой и ругая меня «малохольным чертом».

– Вот увидишь, – пообещал я ей однажды, – завтра Троня твою жабу так хлопбыстнет, что она и квакнуть не успеет!

Но назавтра Троня к собору не пришел.

Помню, в тот день Фирс разбудил меня чуть свет. Я спал во дворе на топчане под вишней и снился мне, быть может, только первый сон, потому что до глубокой ночи, забравшись на крышу высокого каменного сарая с тремя арочными дверями и множеством квадратных окошек под самой крышей (когда-то давно – когда бабушка Анна была гимназисткой – этот сарай был конюшней), я разглядывал луну в тот вожделенный древний телескоп на чугунной ножке, который беспризорно кочевал по всей округе – скакал по Кавказской и по Почтовой; не раз поднимался вверх по спуску Разина до самой Архангельской, до ее щеголеватых домов, красовавшихся вблизи Атаманского сада; едва не сгинул где-то на нижних дремотных улицах у берегов Аксая, и таки очутился у меня, выменянный на стайку жемчужных гурами.

Растолкав, Фирс затащил меня – еще полусонного – по шаткой деревянной лестнице на крышу сарая, туда, где я ночью оставил телескоп и откуда днем хорошо виделись и левый берег Аксая, огибающего город с юга, и все аксайское займище, поросшее камышами и низкими ивами, и гладкая – без камышей, без ив, – ясная степь за займищем, бледно и ровно желтевшая до берега Дона, до пестрого края утренних небес.

Фирс одной рукой отчаянно тряс в воздухе, указывая ею высоко в степь; другой он шевелил мою голову, то приподнимая ее, то опуская, – нацеливал мои глаза, пока я наконец не разглядел у самого горизонта, там, где уже чувствовался яркий свет от невидимого Дона, человеческую фигурку.

– Ква-ква! – вдруг прозвучало у моего уха. И я, окончательно пробуждаясь, мгновенно вспомнил, как вспоминают ускользающее сновидение, и вчерашних жаб, и маленькую старуху в засаленном бархатном жакете, и невыполненное бабушкино поручение, и свое страшное обещание той старухе – тоже невыполненное.

– Ква-ква!

Это говорил немой Фирс, умевший произносить некоторые звуки.

«Ква-ква» – так он называл Троню, умевшего предсказывать по жабам жизнь и смерть...

Как у латыша

Троне было... не знаю, сколько лет. Никто не знал. Нельзя было этого определить. Иногда я присматривался к нему и мне казалось, что лет ему столько же, сколько соседскому древнему деду Корнею Манилову, давно уже разучившемуся толком бодрствовать, но еще не избавившемуся окончательно от лютой своей непоседливости, которая каждое утро выгоняла его вон из дома с ведром или с сумкой на средину улицы, где он и дремал до вечера, выставив ногу далеко вперед.

В другие минуты, бывало, я говорил себе, украдкой разглядывая Троню, что он несколько не старше здорового, с длинным лицом латыша, который квартировал круглый год без дров и без угля у бабушки моей, Анны, в прохладных низах – нижних, наполовину утопленных в землю комнатах – и который так и приманивал к ее дому окрестных блядушек, потому весь был покрыт рыжей шерстью, мелко на нем кучерявившейся от веселой натуры и молодости.

Порой я целыми днями развлекал себя тем, что разгадывал возраст Трони. Но развлечение это, не прельщавшее, к моему огорчению, никого, кроме немого Фирса – он сидел вместе со мною на корточках возле палисадника и азартно разглаживал пыльную кашу на тропинке, готовя место для новой цифры: «18», еще более невероятной, чем прежняя: «90», нарисованная им же, – это развлечение только и делало, что развлекало. Никаких устойчивых результатов оно не приносило, потому что сравнивать Троню по возрасту можно было с кем угодно – хоть с латышом, хоть с дедом Корнеем, хоть с Фирсом, писавшим, указывая на себя, – «35».

Сам Троня от этих сравнений не менялся. Вовсе не менялся. Не менялся никак – ни молодел, ни старел. Всегда был одинаковый – в бумазейной теплой рубашке зеленого цвета, застегнутой на все пуговички под самое горло, и в коричневых полотняных брюках, подпоя-

санных узким кожаным ремешком очень высоко, чуть ли не под мышками; тонкие губы его всегда были крепко сжаты, всегда были растянuty в прямую линию, а выпуклый сморщенный подбородок беспрестанно вздрагивал – так, что если смотреть только на губы и подбородок, не заглядывая в безмятежно приветливые, крошечные Тронины глаза, глубоко запрятанные в темных глазницах под высоким и гладким лбом, то можно было нечаянно подумать, будто Троня чем-то сильно обижен и будто бы он подыскивает злобным умом в отместку за эту обиду дерзкое слово, которое он вот сейчас и выпалит.

Нет, конечно же, в каком-то времени, о котором даже бабушка Анна, отличавшаяся от младших сестер, моих двоюродных бабок, Наты и Ангелины, не только жизнерадостной набожностью, но и особого рода, жизнотворной, памятью, рассуждала сбивчиво, называя его то временем атамана Самсонова – «покойного», говорила она, как будто Самсонов упокоился в прошлую пятницу в своем доме на Троицкой площади, именуемой отчего-то площадью Октябрьской Революции, то временем этой самой революции, то временем *после* нее, – в каком-то времени существовал, должен был существовать такой день, когда Троня появился на свет.

Но Троня о таком необычном времени и о таком особенном дне не имел ни малейшего представления. А поскольку жил он во все времена один – на Кавказской улице в Новочеркаске, на четной ее стороне, густо заросшей чайными розами и кустами дикой жердёлы, прямо напротив дома бабушки Анны, то и спросить о том, сколько Троне лет, было не у кого. Да и кому бы это и для чего могло понадобиться – выведывать, старый Троня или молодой? В округе просто все знали, что, вот, есть Троня.

Бабушка Анна ласково называла его – если говорила о нем заглазно – Тронечкой-блаженным. В глаза же обращалась к нему обыденно, без всякой ласковости – Троня, Трофим. Разговаривала с ним различно: когда – вежливо, когда – шутливо, когда – взыскательно. Так же, как и со мной. Если же мне случалось назвать Троню Троней-дурачком – а случалось это обычно тогда, когда для какой-то неясной цели, для того, чтобы оживить событием бесплодный после-полуденный час, посеявший дрему по всей округе, я подзывал к высоким парадным дверям бабушкиного дома Троню, шагавшего неизвестно куда по улице, приоткрывал двери и громко, во весь голос, так, чтобы бабушка могла меня расслышать из отдаленных комнат, сообщал: «К нам Троня-дурачок пришел!» – если это случалось, то бабушка как-то чересчур уж быстро появлялась в передней, куда я едва успевал войти вместе с Троней, осторожно подталкивая его в спину, чересчур уж быстро сбегала вниз по истертым каменным ступенькам, сплошь усеянным фиолетовыми, рубиновыми, изумрудными и медовыми пятнами света, перенявшего окраску витражных стекол в круглом окне над дверью, и так же быстро, казалось, гораздо быстрее, чем эти пятна замирали на прежних местах, скользнув по бабушкиному платью, нагромождала меня зычными подзатыльниками – одним... другим... третьим, – говоря Троне:

– Не слушай его, Трофим! Это он – дурачок. А ты – умный.

Троня искренне радовался такому обороту дела. Он бил себя по затылку обеими ладонями (изображал мое наказание) и весело восклицал:

– Так его, бабушка! Так его, так его! Он – дурачок, а я – умный!..

– И богатый! – вдруг добавлял он важно. И бабушка замирала. Испуганно настораживалась, предчувствуя что-то недоброе.

И недоброе случалось.

Троня запускал руку в свой необыкновенно глубокий – до колена – карман, вытаскивал оттуда железный рубль, вертел его высоко над головой и объявлял:

– Вот, бабушка, у меня рублик! А у него – как у латыша – хуй да душа!

«Хуй да душа!.. хуй да душа!..» – доносилось уже с улицы, с ее противоположной – жаркой, солнечной – стороны, по которой Троня быстро шагал куда-то сквозь мутно лоснящийся воздух, продолжая свой бодрый путь наперекор полуденному зною.

Вареник счастья

В рождественскую ночь к бабушке Анне приходили колядовать ряженные со всей округи.

Приходил немой Фирс, переодетый в толстую бабу так ловко – щеки наруганы, на голове по бокам скрученные косы, под платьем задница и сиськи из подушек – как настоящие, – что узнать его было бы невозможно, если бы Фирс молчал, когда все хором запевали колядку.

Шли мы степью к вам, несли лодочку,
Никого в степи не обидели,
Только в небо мы смотрели – да на звездочку,
Мы младенчика-Христа в небе видели!

Но Фирсу не хотелось молча получать от бабушки Анны подарки – серебряную мелочь, новые рукавицы, шарф, – и он тоже по-своему пел колядку.

– Му-мы-мы! Му-мы-мы! – мелодично мычал он, вытягивая шею и подплясывая на месте.

Поднимался из низов латыш – страшный, босой, с огромным посохом и лохматою бородою из пакли, завернутый от колен до подмышек прямо поверх собственной шерсти в седую косулю шкуру, по которой в другое время он расхаживал у себя в низах, с гантелями или эспандером, в одной только этой своей рыжей шерсти, разглядывая в зеркале то широкую грудь, то длинные крепкие ягодицы.

Вваливался в двери с мороза вместе с клубами сверкающего пара дед Манилов – бабка Манилиха вела его на поводке, переодетого в медведя; сама же была в сапогах, в атласных огненных шароварах, в намалеванных черных усах и в сереге кольцом – представлялась цыганом.

– Гэй-на-на-нэ, золотой! – кричала она медведю не своим голосом. – А ну, кувыркайся, милоч, потешай народ!

Грозно стучал кулаком в двери отец Василий, поп Васёк, живший на вершине спуска Разина в мрачно красивом доме при Александровской церкви, уже много лет закрытой, – стучал, тарабанил, а потом вдруг входил, вкатывался – маленький, круглый, весь в ужасных обмотках, в тряпках, в дырявых платках, в облезлой шубенке. «Подайте заради праздничка нищему бродяге!» – весело вопил.

В тулупах наизнанку заскакивали вслед за ним маниловские близняшки, внучки деда Манилова, – на головах пустые тыквы, в которых вырезаны круглые глаза и улыбающиеся рты.

Троня тоже в рождественскую ночь переодевался.

Оставаясь, как есть, в полотняных брюках и бумазейной рубашке (мороз, как и зной, ему был нипочем), он надевал на голову самую обыкновенную шляпу, такую же, в какой ходил на работу сын Ангелины Лёсик, начальствовавший над кинотеатром в Атаманском саду, и вообще ражал, что наряжен до неузнаваемости.

Приходил же Троня позже всех. Подкрадывался к парадным дверям, стараясь не наступать на озаренный горящими окнами снег. Рядом с дверями на косяке был электрический звонок, жалобно пищавший в передней; был и другой звонок, тот, с которым я водил задухленную дружбу, потому что он бодро стрекотал на весь дом, если сильно повернуть вертушку, торчавшую в дверной створке и похожую на увеличенный ключик для заводной игрушки; было и тяжелое бронзовое кольцо с глубокой ложбинкой под ним, народившейся за сто лет от ударов в двери. Но Троня не прикасался ни к звонку, ни к вертушке, ни к бронзовому кольцу. Он стоял в шляпе под дверями, втянув голову в плечи, – так, что плечи упирались в уши, – и негромко выкрикивал:

– Тук-тук! Кто-то пришел!

Расслышать его сразу было невозможно, потому что в передней уже стоял веселый шум, сопровождавший долгожданное действие: бабушка Анна, отпробовав под пение колядок кутьи, которую принесли ряженные, бросала им в мешки подарки и деньги, а Ната и Ангелина выносили из соседнего зала, наполненного запахом разогретой хвои и теплых свечных огней, те волшебные вареники, которые с вечера наготовила Анна. Во всех варениках – творог и только в трех творога нет. В одном – мука: кому он попадется на вилку из большой фарфоровой чашки, на дне которой усердно заталкивают в штормящее море парусник не то разбойники, не то рыбаки, тому – му́ка весь год. Другой – пустой, весь из теста: кто его съест, тому не будет ни добра, ни худа. А в третьем – серебряный рубль с поцарапанной головой царя Николая, – это вареник счастья...

– Тук-тук! Кто-то пришел! – выкрикивал Троня чуть погромче. – Тук-тук! – старательно повторял он до тех пор, пока, наконец, маниловские близняшки, вдруг услышавшие его из-под своих тыков, не открывали ему двери, приложив указательные пальцы к вырезанным в тыквах ртам.

Троня входил в переднюю шаркающими мелкими шажками, все так же держа голову втянутой в плечи по самые уши: изображал незнакомца.

– Ой, да кто это?! – удивленно вскрикивала бабушка Анна, притворяясь, что она Троню не узнает.

Притворялась и Ната.

– Да это же наш латыш! – говорила она, складывая перед собою ладони и пятясь назад, на самого латыша, возвышавшегося за ней и давно уже всеми опознанного по кучерявой шерсти и могучему росту.

– Да нет же, Наточка, нет же! Это мой Лёсик! Мой Лёсик! – быстро возражала ей Ангелина, трясая в воздухе костистыми длинными пальцами. – Вот посмотри, посмотри – и шляпа его... фетровая, серенькая! – бойко щебетала она.

Но Троне не хотелось быть ни латышом, ни Лёсиком.

Не меняя выражения тела – как бы прячась целиком под маленькой шляпой, – Троня стоял посреди передней и затаенно ждал других предположений... Ждал, ждал; поворачивал глаза из стороны в сторону, улыбаясь своей особенной улыбкой, не всем лицом, а только морщинами возле глаз и на носу, – в губах же и подбородке сидела, как всегда, неразрушимая обида, – и вдруг не выдерживал, снимал шляпу и уверенно выкрикивал:

– Я Фирс!

– Да как же это – Фирс, миленький? – ласково сомневалась Ната. – Фирс не разговаривает.

– Фирс! Фирс! – повторял Троня еще более уверенно. И тут же, указывая на латыша, радостно сообщал: – А вон то – черт!

И сердце у меня вздрагивало. Потому что я отчетливо представлял, что сейчас сделает Троня... Вот сейчас – уже виделось мне – он коротко топнет двумя ногами и, выплясывая, забрасывая на затылок то одну, то другую ладонь, громко, с ядовитым задором пропоет те слова, которые однажды уже пел на улице:

Черт! Черт! Рыжий черт!
В аду яйцами трясет!
Девочек яйцами зовет!

«Да каких же это девочек, Тронечка?» – уже слышался мне строгий голос Ангелины, чье неумное любопытство всегда таило в себе и простодушие, и коварство. Слышался мне и голос Трони, знающего всё, что происходит в округе, на свете, и отвечающего старательно и без-

злбно, даже поощрительно: «А вот таких, бабушка Глина, с которыми ваш внучек играет в карты... Хороших... Блядушек...»

Но, на мое счастье, так – как мне виделось, как мне слышалось – в ту рождественскую ночь не случилось, хотя и должно было случиться наверняка.

Спасая себя, я быстро и деловито, интонацией Ангелины, проговорил, напомнил: «А что ж мы ряженного-то не угощаем варениками?» И тут же протянул Троне на вилке тот вареник, который за минуту до этого я нечаянно выловил из чашки и в котором – я это знал, потому что вилка уперлась во что-то твердое и беззвучно там царапнула, – был серебряный рубль с головой царя Николая.

Минуту спустя, когда Троня надкусил волшебный вареник и извлек из него под всеобщее ликование свое счастье на целый год, я уже был спокоен. Железные рубли, чья бы голова на них ни красовалась – царя или Ленина, – Троня страшно любил. Он крепко сжал в кулаке царский рубль, повернулся, метнулся в открытую дверь, в темноту, в сверкающую метель, и там исчез...

Майя

Вечерами она тихонько стучала в окно моей комнаты, а когда я выглядывал на ее стук, быстро снимала с головы круглую, в мелких дырочках шляпку, выпуская на волю косы, чтобы по этим косам, коротким, пружинистым, с вплетенными в них разноцветными ленточками, я тут же узнал ее, отличил от сестры... Это была Майя, та из близняшек – близняшка-блядушка, – которая охотно разрешала целовать себя в губы, когда проигрывала мне в карты. Когда же проигрывал я – ей и ее хитрым подругам, Олимпиаде и Саше, – мне приходилось показывать им латыша: таково было их требование; такова была моя ставка.

Мы играли в полуразрушенной, обросшей кустами шиповника и вьющимся хмелем каменной беседке, которую бабушка Анна называла Платовской ротондой (Троня говорил: «ритонда»); другую ротонду, точно такую же, но ухоженную, выбеленную, сохранившую при себе только один сиреневый кустик, торчавший из-под железной купольной крыши, она называла Максимовской, потому что ее построили при атамане Максимове – прибавили к Платовской аж через век; обе стояли на середине спуска Разина по разным его сторонам и были хорошо видны из окон бабушкиного дома, но меня это несколько не беспокоило, потому что Платовская ротонда даже днем не просматривалась насквозь. Мы же играли поздним вечером. Олимпиада и Саша сидели прямо на круглом мраморном столе, разложив по нему короткие расклешенные юбки и маленькие сумочки. Майя стояла рядом со мной и наверняка заглядывала ко мне в карты, хотя я и прятал их от карманного фонарика, которым нам светила ее сестрица, вторая близняшка, Катя, сама никогда не игравшая и даже гордо удалявшаяся из ротонды, когда я получал свой выигрыш... Я играл кое-как, потому что голова у меня шла кругом – от звона цикад, от пения сверчков, от запаха цветущего хмеля, от протяжных, хрустящих щелчков зажигалки, вслед за которыми бойко разгоралась мятная сигарета, то и дело озарявшая подкрашенные губы Олимпиады, от ночи, от звездного неба, струившегося сквозь громадные дыры в крыше, от самого воздуха в ротонде, расшитого стараниями светлячков фиолетовыми искрящимися узорами, и от того, что Катя иногда вдруг освещала подвижным лучом фонарика беспечно расставленные коленки моих противниц, восседавших по-турецки на столе. Взгляд мой сливался с этим желтым дрожащим лучом, и я уже не мог обдумать свой ход, думая только о той завораживающей тени в глубине меж скрещенных ног, которую слабый луч света не успевал разрушить, беспорядочно прыгая по ногам, – одни были темными, лоснящимися, они принадлежали Олимпиаде, высокой, смуглой, носившей толстую черную косу до поясицы; другие были светлыми, светящимися, в свежих мелких царапинах выше коленок... Мне хотелось выиграть трижды, чтобы поцеловать и Майю, и Сашу, и Олимпиаду – в ее накрашенные, мутно блестящие губы. Но этого не случилось. Мой выигрыш всегда был

очень скудный – один поцелуй Майи, который она прерывала небрежным шлепком по моей щеке и возгласом: «Хватит! Играем дальше...»

Проиграв, я заводил блядушек во двор тайным ходом через узкий, шириной всего в один шаг проулок, образовавшийся оттого, что соседний дом примыкал не вплотную глухой стеной к глухой же стене бабушкиного дома. От улицы проулок был загорожен высокой железной калиткой, закрытой изнутри на засов, который я заранее, с вечера, отодвигал, предвидя свои неизбежные проигрыши. Запустив за калитку Майю, Сашу и Олимпиаду, я сначала пробирался один, стараясь не хрустеть каменной крошкой под ногами, до угла дома, до конца проулка, туда, где гранитные шатающиеся ступеньки выводили во двор, прямо под древний полувысохший абрикос, чудом приносивший плоды величиною с куриное яйцо, а потом уже взмахом руки звал за собой блядушек, убедившись, что во дворе никого нет и что окна у латыша горят – здесь, со двора, они выступали из земли, из узких, выложенных ракушечником ям, гораздо выше, чем с фасада, и здесь латыш их никогда не зашторивал. «Один, два, три, четыре... девяносто восемь, девяносто девять...» – считал я до ста двадцати, добросовестно отмеряя две минуты, во время которых блядушки с веселым и жадным интересом разглядывали латыша, сдвинув головы, зажав ладони коленками и наклонившись на прямых ногах над окном так низко, что их задравшиеся юбки открывали мне сочное, разноцветное и сплоченное зрелище, поднимавшее во мне от живота до ключиц знобящую волну, но вглядеться как следует я, увы, не мог: я осматривал то и дело двор, стоя на страже под абрикосом...

Играть в «дурака» на свои поцелуи и на моего латыша Майя и ее подружки готовы были хоть зимой, хоть летом, потому что голым у себя в низах латыш расхаживал во всякое время года, отважно делая гимнастику. И только весной, ранней весной, когда в воздухе впервые после зимы обнаруживался смешанный запах теплых камней, влажной пыли и нарождающейся травы, Майя не в силах была играть. Она не могла даже постучать в окно – отчетливо, коротко, так, как стучала всегда, вызывая меня на игру. Лишь однажды, в поздние мартовские сумерки, мне удалось расслышать за окном странный звук – точно по оконному стеклу разгуливал воробей. Я отодвинул штору и увидел руку – бледную лапку, царапавшую накрашенными ногтями стекло. А когда открыл окно, увидел и Майю.

Она была без шапки, без шляпки, в одном только зимнем пальто, из-под которого видны были ее голые ключицы. Она стояла под окном, прижавшись щекой к стене, и тихо, как заклинание, повторяла: «...К латышу... к латышу... к латышу...» Потом замолчала, опустила руку и сползла по стене на землю, словно раненная или мертвая.

Печенег

Лёсиком Лёсика звали потому, что он сам себя называл Лёсиком. Всегда сюсюкал, как сюсюкала когда-то, разговаривая с ним по-младенчески до самой его женитьбы, Ангелина, и всегда рассуждал о себе как о постороннем.

– Да сто вы к Лёсику плистали – покатай, покатай! Лёсик лаботал, Лёсик устал, – хмуро отвечал он близняшкам, когда те просили, чтобы он покатал их на своем животе, как иногда катал меня.

– Ну покатай же, сладенький, хороший... покатай нас... как племянничка, – выдавливали они из себя, захлебываясь смехом и приседая от смеха на корточки.

– Племяннисик худенький, легкий, – серьезно объяснял им Лёсик, – а вы узэ дылды, у вас зопы тязолые.

Катать меня верхом на животе Лёсику, и вправду, было легко и сподручно, потому что у него была особенная походка... Помню, как он возвращался домой с работы, из кинотеатра. Шел по спуску Разина вниз – не шел, а словно съезжал по нему на спине, глядя в небо: так сильно приходилось ему заваливаться назад, чтобы перевесить выпуклый живот. Во дворе же,

куда он старался попасть первым делом (любил полежать на топчане, прежде чем зайти в дом), Лёсик никогда не появлялся весь сразу. Сначала распахивалась маленькая калитка, врезанная в створку широких ворот, и заходили во двор – как бы сами собой – одни только ноги; потом долго – и тоже самостоятельно – въезжал в калитку живот; за ним постепенно показывалась грудь; просовывалась подбородком вперед голова – всегда при серой шляпе, лежавшей на лбу, на голубых глазах; последними объявлялись руки, висевшие далеко за спиной: в одной руке кожаная папка, в другой бутылка с красным вином.

Близняшки, хотя и изводили Лёсика просьбами (заведомо неисполнимыми: «покатай»; «отдай вино»; «подари папку»), но все же любили его. Часто встречали его на углу Кавказской и спуска Разина, где Лёсик останавливался и покорно ждал, не выпуская из рук бутылку и папку, пока близняшки шарили по его карманам – искали контрамарки на вечерний сеанс в кинотеатр, которые заготовил для них Лёсик. Находили, а потом преувеличенно и весело благодарили его: Майя вдруг отступала назад и отвешивала ему поклон, проводя рукой по траве, а Катя ставила ему на живот железную кружку, полную вишен, с которой Лёсик так и шел домой. Меня в кинотеатр пускали без контрамарок на любой сеанс.

– Заходи, племянник дилектола, – говорили мне билетерши, передразнивая Лёсика, которого они нисколько не боялись, потому что, во-первых, Лёсику всегда было безразлично, как разговаривают с ним или о нем, то есть о том Лёсике, на чье безмятежное существование он и сам – безмятежно же – взирал со стороны; а во-вторых, Лёсик редко добирался до кинотеатра, отправляясь на работу.

Кинотеатр стоял в самом центре Атаманского сада, поднимавшегося тремя террасами (на каждой – своя аллея) от церкви Александра Невского до дворца, который бабушка Анна, повергая в ужас Ангелину, тоже называла Атаманским. «Да ты, Аничка, с ума сошла!» – испуганно шептала ей Ангелина, называвшая дворец совсем по-другому – каркающим словом «горком». Как и дворец, кинотеатр был старинным, но не каменным, а деревянным, с огромными лирами на круглых белых плашках, прилепленных к бирюзовым стенам; с резными плоскими колонными по углам и обширной, заплетенной дикой лозой верандой, которая выходила прямо в сквер, отгороженный от аллеи высокой выбеленной балюстрадой. Чтобы попасть в кинотеатр, нужно было зайти через низкую арку в сквер, где на выпуклых клумбах валялись – на боку, на спине, на животе – курганные Бабы и где стоял, возвышаясь заостренной шатровой крышей над густыми кронами каштанов, буфетный павильон, похожий на парковую карусель.

В этом-то павильоне, окольцованном глубоким каналом, по которому плавали, раздвигая ряску, утки, и сидел целыми днями Лёсик. Иногда сидел до позднего вечера, до звезд, до луны, до разноцветных огней, зажигавшихся по краю павильонной крыши. Улыбаясь буфетчицам, которые время от времени меняли пузатые графины на его столе, улыбаясь всякому посетителю, перебравшемуся в павильон по сгорбленному мостику, он курил одну за другой сухие хрустящие папироски и пил стакан за стаканом вино – но ничуть не пьянел, а только глаза его становились такими же бирюзовыми, как стены кинотеатра.

За стенами крутилось кино – крутилось, мерцало, вспыхивало, разнообразно озаряя зал, казавшийся мне безграничным. Он был и в самом деле огромным, таким, что по нему было просторно летать воробьям и ласточкам. Экран, светившийся во всю ширину кинотеатра над высокой сценой, даже от кресел первого ряда был удален на большое расстояние. Я обычно сидел в первом ряду, хотя мне хотелось сидеть в последнем, там, где устраивалась со своими подружками Майя; там они украдкой пили вино, заранее купленное в павильоне; там Олимпиада сажала меня на колени, и я, откинувшись назад, ощущал спиной ее плоский тугий живот, твердые ребра, теплые груди, ощущал ее крупные прохладные соски – они, казалось, сверли мне лопатки и вливали в меня вместе с живой прохладой непобедимый яд, заставлявший все тело то дрожать, то цепенеть; там я вдыхал в себя, преодолевая кашель, мятный дым сигареты, которую Олимпиада вдруг подносила к моим губам, пряча в ладонях от взглядов билетерш

алый огонек... Оттуда, с последнего ряда, мне хотелось смотреть кино. Но я не мог бросить Троню.

Кинотеатр Троню чем-то всегда привлекал, но заходить в него один он боялся – стоял у входных дверей и осторожно заглядывал в зал; с любопытством осматривал бронзовые светильники на стенах, деревянные кресла, покрытые черным лаком, слепо белеющий экран. Стоило мне подойти к дверям, как Троня хватал меня за руку и затаскивал в зал с таким решительным видом, как будто я, а не он, боялся туда войти. Он усаживался на первый ряд, куда и мне приходилось садиться, потому что моя рука была стиснута в его руке, словно в клещах, и он не отпускал ее до тех пор, пока не заканчивалось кино.

Троне воображалось, что кино существует только одно, одно-единственное – то, которое он однажды видел вместе со мною: про печенегов. Про то, как летит на свирепых конях по степи громадное войско, всё в пушистых, пестрых мехах, и про то, как падает с деревянной башни воин в остроконечном шлеме, успевая нащупать стрелу в груди и тихо вымолвить: «Печенеги...»

Что бы ни происходило на экране – плясала ли там, приставляя длинные пальцы к щекам, голоживотая индианка, бежал ли по крыше вагона хитрец-удалец в галифе, охотно стреляя из маузера во все стороны, целовал ли у моря растрепанную девицу, жарко катаясь с ней песку, гибкий и ласковый оборванец, – Троня ждал печенегов. И, не дождавшись, выкрикивал сам на весь зал:

– Печенеги!

– Да, печенеги, Тронечка, печенеги... Уже уехали, – успокаивала его Катя, часто сидевшая рядом со мною, когда я попадал к Троне в плен.

Она не хотела курить сигареты и пить вино с подружками Майи в последнем ряду. Она не переносила ни табачного дыма, ни вина, и поэтому я очень удивился, когда однажды – после того, как мы вышли с ней из кинотеатра в сквер, – она вдруг наклонилась к моему уху и прошептала: «Пойдем к Лёсику пить вино...»

Лёсик встретил нас в павильоне своей обычной, ласково-равнодушной улыбкой, как бы говорившей всему миру: вот он – Лёсик, вот он – тихий вечер, вот оно – вино. Помню, эта улыбка не сходила с его лица ни тогда, когда Катя попросила его налить ей полный стакан вина, который она выпила быстро и лихо – зачем-то тряхнула даже головой над пустым стаканом, – ни тогда, когда она сама, не спрашивая Лёсика, наполнила вином стакан и протянула его мне.

Я тоже постарался выпить вино быстро, не показывая Кате, что я делаю это в первый раз. Горячий сладковатый дух перехватил мне горло, замер в груди, пополз вниз; какое-то время он медленно двигался в животе, обдавая жаром внутренности, а потом вдруг помчался вверх, к голове и рассыпался там на тысячи хрустальных иголок. Они кололи мне голову изнутри, плясали снаружи на онемевших щеках. Я видел, как Катя снова наливает себе вино и снова пьет его быстрыми глотками; видел не своими, а чьими-то чужими скользящими глазами, как мы выходим из павильона в сквер; видел по губам Кати, как она что-то говорит Лёсику – но вникнуть в ее слова я не мог, потому что слух отделился от меня и свободно плавал где-то сбоку, вверху, в ночном небе, где дрожали и кружились размазанные звезды...

Слух вернулся ко мне вместе с тошнотой в ту минуту, когда я обнаружил себя сидящим на плечах Лёсика. «Курва! Шалава! Слезай сию минуту!» – отчетливо услышал я голос Заиры, жены Лёсика. Черноволосая, кучерявая, всегда злобная и проворная, она бежала вверх по спуску Разина навстречу нам – навстречу мне, Лёсику и Кате, которая тоже сидела на Лёсике. Она сидела верхом на его животе и, широко раскинув длинные ноги, облокотившись на его грудь, весело распевала:

– Печенеги, печенеги едут с горки на телеге!

Ее непослушная голова с двумя конскими хвостиками по бокам раскачивалась из стороны в сторону так сильно, что и Лёсик, никогда от вина не пьяневший, качался, как пьяный, и подпевал ей: «Едут, едут песенки!...»

Планетарий

Поп Васёк был совсем не таким попом, какие служили в Войсковом соборе. Там они были важными, грозными, с длинными плоскими бородами по живот. У попа Васька борода была маленькая и такая же круглая, как и весь он сам. Он не то что охотно, а даже азартно играл в айданы со мной и Володей – сыном бабушки Наты, моим двоюродным дядей, который был старше меня всего на два года, – и с нашими друзьями Родей и Андреем. Иногда Васёк выигрывал у нас подчистую все айданы – такие маленькие квадратные косточки из коленки овцы. Их нужно ставить рядком на кон – в прямоугольник, начерченный на земле, – и сбивать с расстояния десяти шагов байбаком – точно такой же косточкой, но покрупнее. Если байбак после удара становится на бок, – это называется *арцо*, – то можно повторить удар с гораздо меньшего расстояния, оттуда, где выпало арцо. У попа Васька байбак беспрестанно *арчил*, и поэтому он не метил им в кон, а просто *гнал*ся – подбрасывал байбак вплотную к кону, а потом сбивал им все айданы, закрутив его пальцами, запустив по земле волчком. Обыгрывал нас и уходил, очень довольный, улыбающийся. Да еще поучал: «Вот так надо играть в игру ваших пращуров, отроки никчемные!»

Говорить с попом Васьком можно было о чем угодно: о рыбах, о марках, о телескопе, о луне, о Боге – существует Он или нет?

– Существует, существует, – отвечал поп Васёк очень буднично (гораздо торжественней он объявлял: «Гонюсь!») – подбрасывая к кону непобедимый айдан). – И Бог существует, и Его Сын, и Богоматерь, и апостолы... У меня арцо, отроки!

– А попадьа? – спрашивал кто-нибудь.

– Что попадьа?

– Попадья существует?

– Я вот те дам попадью, сукин сын! Я вот те холку сейчас так обрею!

Только про попадью и нельзя было говорить с попом Васьком.

Попадью никто никогда не видел, и поэтому ее воображали, какой угодно. Одни говорили, что она старая, уродливая: все лицо в бородавках и жестких волосьях. Другие утверждали, что она страшно юная, тонкая и лицом необыкновенно красивая, но есть у нее острый горб на спине.

– Да, красивая, но не тонкая и не горбатая, а огромная... Задница у нее вот такая! – возражал на это Володя, возражал и больше не вступал в спор; молча смотрел куда-то перед собою, остановив у пухлой румяной щеки раскуренную сигаретку, и видно было, как в его светлых, мечтательно умных глазах все разрастается и разрастается эта выдуманная им задница: одна половинка – как весь поп Васёк.

Вот об этом-то – существует попадьа или нет – я и думал в тот день, когда мне удалось проникнуть незамеченным за чугунную ограду, которая охватывала скобой Александровскую церковь. Само это пространство за оградой, застывшее, сумрачное, пропитанное запахом плесневевших кирпичей и затопленное сонной тишиной, манило меня своей непричастностью к окрестному подвижному миру. Меня манило там все – и гранитные плиты у церковной стены, покрытые длинными надписями на неведомом мне языке; и низкий, кое-как заколоченный гнилыми досками дверной проем в стене, через который можно было забраться в церковный подвал; и валявшиеся под деревьями, вросшие в землю колокола; и дом попа Васька, узкий, длинный, в тяжелой лепнине над окнами, закрытыми наглухо днем и ночью, зимой и летом деревянными ставнями, которые притягивали мой взгляд так же властно, как закрытые выпук-

лые глаза и желтое лицо деда Корнея, когда того однажды вынесли на улицу в глубоком гробу... Но больше всего меня манила огромная тютюна, что росла за оградой у самой церкви, дотягиваясь верхними ветвями до высокого арочного окна, где в железной раме еще торчали осколки разноцветных стекол. Ни на одной тютюне в округе нельзя было найти таких ягод – белого налива, – как на этой. Они были сочными, нестерпимо сладкими, тучными – некоторые не уступали величиною грецкому ореху. Но добраться до этих возжеланных ягод было почти невозможно. Нет, конечно, пролезть через ограду, аккуратно просунув голову, а потом и все тело между двух чугунных пик, не составляло труда. И я это делал не раз. А потом шел к тютюне – крался к ней, ощущая, как каменеют от осторожных движений все мои сухожилия. Прежде чем забраться на дерево, нужно было наступить на толстую гранитную плиту под ним: она помогала подняться повыше и ухватиться за нижнюю ветку. Но я не торопился. Я стоял под тютюной, скованный точно такой же выжидательной неподвижностью, какую хранили серые ящерицы, гревшиеся на плите среди высеченных букв. Ящерицы смотрели на меня; я же присматривался к дому попа Васька. Там все тихо и слепо. Нет ни единой щели между ставнями. Дверь, покрытая пылью и шелушащейся краской неясного цвета, выглядит так, как будто ее не открывали уже много лет, как будто дом мертвый, заброшенный. Я наступаю на плиту – и дом оживает. Дверь распахивается, из нее вылетает поп Васёк и, радуясь удавшемуся коварству, кричит: «Куда, твою мать, по могиле протоиерея!»

Так было всегда.

Но так не могло быть в тот день, когда я забрался-таки на тютюну, тревожно спрашивая взглядом – у слепых окон, у запыленной двери, – существует ли попадьа? Попа Васька дома не было. В тот день, я это видел, он вышел из церковного двора, чем-то сильно озабоченный, и вместе с двумя другими попами, чьи розовые гладкие лица над плоскими бородами излучали спокойную строгость, отправился через Атаманский сад в сторону Дворцовой площади, одетый, как и эти попы, в черную рясу...

Целый день я смело разгуливал по церковному двору, уже не желая даже смотреть на дерево, накормившее меня своими плодами до сонного головокружения. К вечеру я обследовал во дворе все, кроме древнего, похожего на карету, автомобиля, который стоял возле дома, в нескольких шагах от дверей, утопленный по толстые стекла, сплошь покрашенные белой масляной краской, в лопухи и бурьян.

Было уже темно, когда я решил забраться в автомобиль. Я с силой дернул дверцу и она, опережая мое усилие, быстро и широко открылась. Из автомобиля с грохотом покатились, повалились наружу пустые бочки, ведра, тазы. Они еще продолжали шевелиться и греметь, когда под железным козырьком, висевшим на цепях над дверью, зажглась тусклая, грязная лампочка. Я успел спрятаться за угол дома прежде, чем дверь распахнулась и на крыльцо, составленное из двух каменных плит, осторожно вышла попадьа.

«Вот она, существует!» – мысленно воскликнул я, разглядывая ее. Худошава, длиннорукая, затянутая в черное платье от голых ступней до шеи, она какое-то время стояла неподвижно и, казалось, всем лицом вслушивалась в темноту, повернув его в мою сторону. Такого лица я никогда еще в жизни не видел! Глубокий шрам, тянувшийся наискось по правой щеке и задиравший край верхней губы так высоко, что из под нее виднелись два зуба вместе с деснами, делал это лицо не просто уродливым, а уродливым до отвращения. Но с этим нечаянным, нахально торжествующим уродством отважно боролась врожденная красота всех черт юного лица попадьи. И эта борьба, не проигранная и не выигранная, но живая, продолжающаяся, обладала такой завораживающей силой, что мне захотелось сию же минуту выйти из укрытия и сказать попадье, что красивее ее нет никого на свете, и даже поцеловать ее в обезображенные губы. Но вместо этого я затаился еще надежнее – лег в лопухи, – потому что попадьа вдруг шагнула с крыльца в темноту и, продвигаясь ощупью вдоль стены к углу дома, прямо на меня, испуганно спросила:

– Кто здесь?.. Васенька, ты?..

– Я... я... Иди в дом, Анята! – услышал я в то же мгновение сердитый голос попа Васька.

Его круглую фигуру в черной рясе я сразу же различил в темноте, как только *Анята*, быстро скрывшись в доме, погасила электрический свет, озарявший крыльцо.

Поп Васёк стоял посреди церковного двора спиной к дому и, запрокинув голову, смотрел на центральный, могучий, чуть приплюснутый купол церкви, под которым блестели в лунном свете стекла крохотных арочных окон, разделенных тонкими колоннами.

– Планетарием будешь, матушка... Планетарий из тебя постановили сделать в горкоме! – проговорил он, не опуская головы. Потом развернулся и, злобно шатаясь из стороны в сторону, направился к дому – исчез там, звучно захлопнув за собою дверь.

Я уже был в безопасности – за церковной оградой, – когда снова увидел попадью Аняту. Извиваясь и спотыкаясь, повторяя на ходу: «Не надо, Васенька... пожалуйста... пожалуйста...», она выскочила из дома вслед за попом Васьком. Он уже был без рясы – стоял среди могильных плит в одной только длинной белой рубахе.

– Ах вы ж стервы блестящие!.. Планетарий!.. Я вам покажу планетарий, мать вашу коромыслом!! – грозно кричал он куда-то в ночное небо, в звезды...

Восьмой пароход

Дом у Трони был. Но что это был за дом! Это была такая круглая башенка при воротах, от которых уцелела только одна створка из толстых железных прутьев, сплетенных в узор. Когда-то давно, когда в двухэтажном доме с плоскими колоннами между окон, что стоял за воротами в глубине двора, жил один дед Корней Манилов, у которого, говорила бабушка Анна, «было семь пароходов в Азове и миллион рублей серебром», в этой тесной башенке, сменяя друг друга, сидели маниловские сторожа, охранявшие дом. Как и когда в башенке поселился Троня, в округе никто не помнил. Не помнил этого и сам Троня. Иногда он и вовсе забывал, что сторожевая башенка – его дом.

– Иди, Тлоня, домой! – бывало, командовал ему мимоходом Лёсик, заметив, что Троня бодрствует поздним вечером, забравшись с ногами на холодный валун у колонки. И Троня шел. Но не в башню, а мимо нее – по улице. Или вдруг говорил Лёсику, не двигаясь с места:

– Не хочу домой. Хочу в башенке пожить.

– Да ты сто, Тлоня, дулак! Ты там и зывёс! – отвечал ему Лёсик взволнованно, стараясь Троню обрадовать.

После такого сообщения Троня, случалось, несколько дней никого не подпускал к башне – кричал с ехидной гордостью, с лютым задором всякому, кто пытался приблизиться к ней, что это *его* дом! что ему *Лёсик* сказал! Но проходило еще несколько дней, и Троне наскучивала эта забота, мешавшая другой его заботе – быстро шагать туда-сюда по всему городу, не расставаясь с явью ни днем ни ночью.

Он снова куда-то шел – то по одной, то по другой улице, пересекал площади, спешил к собору, спускался к Аксаю, выходил в степь, возвращался в город. Башенку в разгар такого бодрствования он даже не замечал, а если и заходил в нее, то так, как заходят в чужое жилище, – со сдержанным любопытством и вежливой осторожностью.

В башенке у Трони, в круглой каменной комнате, где едва помещались табуретка и стол (на нем Троня спал), я был много раз. Мне нравилось сидеть там, среди ясного жаркого дня, в полумраке и смотреть на улицу через узкие – шириной в две ладони – окна без стекол. Все отсюда выглядело иначе. Все казалось далеким, неузнаваемым и вместе с тем необыкновенно отчетливым, словно я смотрел с обратной стороны в телескоп, пользуясь его подспудной, удаляющей силой. Даже бабушкин дом представлялся мне незнакомым, оттого что он виделся весь целиком в ярком и плотном свете, сдавленном глубокими оконными проемами. Чем дальше я

смотрел сквозь них на улицу, тем неподвижной становился мой взгляд, равномерно рассеиваясь на всех предметах – и дальних, и ближних. Предметы сначала теряли свою отчетливость, потом раздельность; потом превращались в сплошную пеструю пелену. А вслед за этим во мне поселялось странное состояние, которому невозможно было сопротивляться в силу его чужеродности. Оно как будто бы не принадлежало мне; оно наплывало со стороны, извне, вытесняя мое «я». Не я, а совершенно бездумное и бесформенное существо, вдруг завладевшее моим зрением, смотрело из башенки и наслаждалось этим свойственным для него состоянием, в котором соединялись одновременно и упоительное оцепенение, и радостная завороченность, и обморочное безразличие ко всему, что происходит перед глазами, на улице, в округе, за толстыми стенами башенки, в башенке – где бы то ни было. Мне не то чтобы не хотелось крикнуть незнакомому велосипедисту, который быстро и беззвучно катился по улице, по травяной кромке вдоль мостовой, что он – вот сейчас – упадет в глубокую яму (обросшую по краям высокой лебедой и потому для него не заметную); я просто не в силах был этого сделать: я мог только наблюдать – без сочувствия, без насмешки, и даже без любопытства, – как он падает; как исчезают с поверхности земли переднее колесо, хромированный руль, сторбленная спина, а потом и заднее колесо, сверкнувшее напоследок спицами. Мне было вовсе не обидно, что Родя лежит в *нашем* палисаднике и, запрокинув голову на ладони (делая вид, что спит), подглядывает за *нашей* Заирой, которая собирает сливы в кастрюлю, забравшись в цветастой юбке на дерево и широко расставив ноги на ветках прямо над Родиной головой. Я не испытывал горячего азарта, видя, что на улице появляется, вывернув из-за угла спуска Разина, долгожданный старьевщик в обвислой шляпе, запряженный вместо коня в разрисованную арбу: ему можно было принести любую дрянь, хотя бы и поломанный бабушкин веер, который она прятала в горке среди посуды, и взамен получить губную гармошку, глиняную свистульку, или даже перочинный нож. Но я и не думал бежать за веером. В эти минуты я вообще не мог о чем-либо думать, в чем-либо участвовать действием или мыслью, чего-либо хотеть или не хотеть. Моя воля, словно испорченный оптический прибор, из которого нельзя извлечь искомую резкость, не настраивалась ни на какое событие в окрестном мире. Заира, старьевщик, Родя, проворный велосипедист, блестящий темно-зеленый жук на каменном подоконнике в башенке, печные трубы на отдаленных крышах, макушки пирамидальных тополей на нижних улицах – все это я видел одновременно и в то же время не видел ничего. Мир не воздействовал на мои чувства; я даже не осознавал в эти минуты, что мир существует и что я существую в нем. Это была особая форма небытия, возникавшая по недоразумению – от чрезмерной рассеянности взгляда – в недрах самой жизни. Почему-то именно в Трониной башенке мой взгляд заражался этой мертвящей и блаженной рассеянностью. Иногда, конечно, случалось, что и вдали от башенки, например, на террасе за летним обедом, когда Ангелина разливала дымящийся суп по тарелкам (обедами на террасе всегда распоряжалась она, а не бабушка Анна), меня вдруг охватывало точно такое же состояние. Но длиться долго оно не могло. «Засмотрелся!» – тут же говорила Ангелина, словно уличая меня в чем-то опасном или вредном. «Ну-ка, очнись! – приказывала она. – Немедленно! Слышишь?» Я машинально кивал в ответ, хотя слышал одни только звуки, а не сами слова, составленные из них, и, кивая, продолжал смотреть в никуда – в глубину туманного разноцветного кома. И тогда Ангелина, утопив в бокастой фарфоровой супнице тяжелый половник, принималась махать освободившейся ладонью перед моими глазами с такой же заботливой энергичностью, с какой растирают обмороженные щеки. И делала она это до тех пор пока глаза мои – вместе с чувствами и мыслями – ни начинали двигаться, схватывая предметы в их привычном, раздельном и ясном, виде. После чего Ангелина строго объясняла мне, что *так* засматриваться нельзя; что от такого *засматривания* можно нечаянно ослепнуть; можно даже незаметно умереть.

– Или сделаться дурачком, – подхватывала Ната.

– Как Троня? – спрашивал я, зная, что Ната и Ангелина не посмеют в присутствии бабушки Анны согласиться со мной, а лишь промолчат в ответ и на том прекратят разговор, уже обещающий превратиться в дружное назидание о том, как правильно нужно смотреть, чтобы уберечь и зрение, и жизнь, и ум; и о том, как вообще следует вести себя воспитанному мальчику.

В башенке у Трони я мог *засматриваться* сколько угодно. И этому никто не мог помешать, кроме самого Трони. Однажды он очутился у меня за спиной, когда я смотрел в то окно, из которого виден был дед Корней, спавший стоя с пустым ведром на мостовой – всегда на одном месте, на перекрестке Кавказкой и спуска Разина, недалеко от колонки, – видны были сама колонка и густая ива рядом с ней, похожая на пышный фонтан. Троня осторожно ткнул меня твердым острым пальцем в плечо и негромко проговорил:

– Что, нравится смотреть из башенки?.. Она хорошая.

Он сказал это как-то так (мечтательно? понимающе? – не знаю), что я на мгновение усомнился в том, что он дурачок. Но в то же мгновение сомнения мои рассеялись. Глянув в окно, а затем просунув в него голову, Троня вдруг заорал резким противным голосом, который был знаком всем в округе и в котором слышались одновременно ноты воинственной обиды и отчаянного, кривляющегося веселья:

– Корней! Корней! Где твой пароход?! Просыпайся! Вон твой пароход плывет!

«Пароход... пароход... А я-то думаю, что за пароход?..» – приговаривала два дня спустя не то радостно, не то сокрушенно бабка Манилиха, стоя вместе со всеми в толпе возле своего дома и глядя, как выплывает, покачиваясь на руках, из распахнутых настежь дверей, из стойкого сумрака на яркий полуденный свет огромный, с высокими бортами гроб. Дед Корней, сделавшийся очень плоским, одетый в пиджак, какого он никогда не носил, лежал в нем с желтым лицом, без фуражки, и, казалось, что-то усердно рассматривал в мыслях под голым лбом.

Там

Ни с кем мне не хотелось целоваться – ни с Майей, ни с Сашей, ни с Олимпиадой – после того, как я увидел попадью Анюту. Поздними вечерами, засыпая в одиночестве на топчане под вишней или в компании с Володей на открытой, выходявшей во двор деревянной террасе, я думал только о попадье Анюте. Мне даже не хотелось говорить с Володей о том, о чем мы обычно говорили в сладкие предсонные минуты, кутаясь в верблюжьи одеяла (я у стены на грузной оттоманке, он на легкой кушетке у края террасы, под самыми перилами), – о покойниках, об айдахах, о том, что завтра нам надо наконец-таки разыскать на Аксайской улице *Енота* и выменять у него или выиграть в карты всех моих *негров* – четырнадцать серебристых марок родом из Бурунди, скитающихся по округе с тех пор, как я променял их на негодную (чвирк-пырк) зажигалку; об отдаленности Венеры, сияющей в обманчивой близости, над кроной старого абрикоса; о пылком злодействе деда Корнея Манилова, который будто бы взял и отрубил длинной шашкой головы двум молодым актерам и своей первой бабке, то есть, конечно, не бабке, а тоже юной актерке, за то, что она очутилась с актерами голой в садовой беседке («Тсс, видишь?!» – «Что?» – «Кто-то идет... *Они* идут! Все трое – без голов!» – «Ты врешь... перестань, Володя...» – «Смотри! Смотри! И дед Корней идет! С шашкой идет... видишь, блестит?...» – «Ничего не блестит: деда Корнея похоронили». – «Ну да, похоронили. А он идет!»); о том, что Лёсик, хоть он и добрый, а тоже, наверное, отрубил бы чем-нибудь голову своей Заире, если б узнал нашу тайну; и, наконец, об этой заманчивой тайне – о голой Заире.

Голой ее видел я. Но мне почему-то всегда было интереснее слушать Володю, слушать, как *он* рассказывает мне о моем приключении – о том, как беззвучным, томительно жарким полднем я забрался в сарай, надеясь отыскать (на будущее) вещицы, подходящие для старьевщика: искать их в доме я уже не решался, с тех пор как отдал старьевщику за две раскрашен-

ные свистульки бабушкин веер, который, как выяснилось потом, когда бабушка целый день ругала старьевщика «шаромыжником», а меня «безмозглым анчуткой», был ей «дороже всех свистулек на свете».

Зайдя в сарай, я плотно закрыл за собою высокую, обитую железом дверь. Из крохотных окошек под крышей сюда проникали мутные лучи, в которых медленно двигалась пыль. Они слабо освещали только переднюю часть сарая, где хранились аккуратно сложенные дрова, колотый уголь, бочонки с керосином, инструменты, всевозможные стулья, столы и кресла, сосланные сюда из дома по дряхлости или по увечности; задняя же часть сарая, отделенная высокими загородками, за которыми когда-то, как говорила бабушка Анна, стояли лошади, была совершенно темной. Но именно там, за этими дощатыми загородками с уцелевшими кое-где дверцами, и можно было найти такие вещи (сбрую, седло, железный поднос, подсвечник), которые зажигали в веселых глазах старьевщика беспокойные огоньки.

Сидя за загородкой, я неспешно перебирал разнообразный хлам, как вдруг дверь в сарай приоткрылась, потом захлопнулась, перекусив широкий луч света. И в то же мгновение я услышал голос Заиры.

– Боже мой!.. Ну и пусть! Ну и пусть! – испуганно говорила она кому-то.

Бесшумно наступив на ящик, лежавший возле загородки, я осторожно выглянул в широкую щель между верхними досками. Заира была одна. Она стояла возле изорванного кожаного кресла и вид у нее был такой, будто она только что очнулась от кошмарного сна. Какое-то время она ерошила короткие кучерявые волосы, быстро двигая растопыренными пальцами вверх от висков. Такими же быстрыми движениями она вдруг стала расстегивать пуговицы блузки, потом широкий лакированный пояс на юбке. Я видел, как юбка упала на земляной утрамбованный пол рядом с блузкой, как Заира, перешагнув через юбку, наклонилась, подняла к груди сначала одно, потом другое колено, и тут же выпрямилась. Я не сразу понял, что она была теперь голой: ее кожа на ягодицах светилась такой же яркой белизной, как и трусы, которые она, скомкав, швырнула в кресло.

– Входи! – сказала она, глянув в сторону железной двери. Дверь тут же открылась и в сарай вошел Рюмкин. Это был худощавый, длинноволосый, с подвижным острым кадыком студент, который три раза в неделю занимался математикой с Ангелиной и который очень смешил меня и Володю тем, что называл Ангелину, будто мужчину, профессором («профессор сказала»; «профессор пообещала»; «профессор разрешила мне у вас пообедать»).

Увидев Рюмкина, Заира нисколько не испугалась. Напротив, с веселой и злой отвагой она повернулась к нему лицом и, запрокинув вверх подбородок так резко, будто кто-то ее дернул сзади за волосы, проговорила:

– Ну вот, Рюмочка, смотри! Где у меня шерсть?

Рюмкин осторожным движением, каким он это делал всегда, когда собирался во время урока что-нибудь возразить Ангелине, снял круглые толстые очки, медленно протаскивая их вниз по носу, и виновато отвернулся в сторону.

– Я думаю... то есть я совсем не то хотел сказать, когда говорил... – начал он было что-то объяснять Заире.

Но она его не слушала.

– Смотри, смотри! – повторяла она, поворачиваясь на месте и качая руками над головой, словно в танце.

– Я уже посмотрел... мне очень нравится... но только я пошутил, – бормотал Рюмкин, не глядя на Заиру.

– Ах пошутил?! А я не шучу! – Она сердито, но не сильно шлепнула Рюмкина ладонью по щеке.

И в эту минуту перевернутый ящик из тонких дощечек, на котором я стоял за загородкой, с громким треском проломился под моей ногой. Из сарая Рюмкин успел выскочить прежде, чем Заира, подхватив с пола юбку, воскликнула:

– Кто здесь?

Я молча вышел из своего укрытия. Заира стояла в пыльных янтарных лучах, прикрывая юбкой грудь и согнувшись всем телом так, словно она собиралась прыгнуть.

Не зная, что делать, я не двигался с места.

– Это ты?.. Ты подглядывал! Подглядывал! Сволочь, шалава! – Взгляд Заиры горел такой ненавистью и злобой, каких я никогда еще не видел в ее глазах – даже в те минуты, когда она ругалась с Лёсиком.

Ноги у меня сделались ватными от страха; мне казалось, что Заира сейчас бросится на меня и задушит крепкими темными пальцами в серебряных кольцах. Но вдруг лицо ее изменилось. Какое-то странное выражение – не то умиления, не то озорства – проступило на нем. Она быстро подошла ко мне и села на корточки, взяв мою голову в ладони.

– Прости меня, ну прости, прости, – произнесла она ласковой скороговоркой. – Знаешь, он меня обидел, этот Рюмкин, обидел! Он сказал, что я противная волосатая ведьма, что у меня везде шерсть, как у нашего латыша, только черная, а у меня нет никакой шерсти, ты видел... видишь... Ты никому не скажешь? – внезапно спросила она, отодвинув назад мою голову, чтоб заглянуть в глаза. Я покорно кивнул. Она снова притянула мою голову к своему лицу и еще долго что-то говорила мне, то улыбаясь, то плача, то требуя от меня страшных клятв, которые я произносил монотонно и бесчувственно, потому что чувствовал только одно – как больно вдавливаются ее прохладные кольца в мои горящие уши...

Потом, когда эту историю мне пересказывал Володя (так запальчиво и подробно, как будто он, а не я был ее участником), я охотно верил, что в ту минуту, когда Заира сидела передо мной на корточках, я чувствовал и видел очень многое – видел вблизи ее плечи, колени, живот, качающиеся груди, внимательно рассматривал ее сплюснутые соски в центре больших темно-коричневых кругов, чувствовал мягкое, ароматное тепло, исходившее от ее шеи... О голой Заире мы обычно говорили с Володей до поздней ночи, радостно свидетельствуя друг перед другом, что шерсти у Заиры нет нигде – только под мышками и *там*. И это заповедное *там*, эта вертикальная выпуклая полоска черных волос (короткая полоска, а вовсе не размашистый треугольник, как рисовало грубое воображение Володи) то и дело проникала в мои сны, где Заира, голая и огромная, выше Платовской ротонды, стояла, раскинув ноги, на середине спуска Разина, покрытого льдом, и в то время, как я пролетал по льду на санях под ее ногами, словно под аркой, грозно кричала мне: «Смотри! Смотри!»

Но все это было раньше, до того, как я увидел попадью Анюту, до того, как влюбился в ее узкое бледное лицо, изуродованное безжалостным шрамом; влюбился в сам этот шрам, который, как мне казалось, возник на ее непобедимо красивом лице не от будничного несчастья, а силою сказочной злой ворожбы; влюбился в ее черное полотняное платье, которое скрывало всю ее тонкую высокую фигуру от щиколоток до шеи и которое даже смутно, даже краешком мысли не позволяло представлять никакого *там*. Мое воображение, за которым бдительно следила душа, возвышенно и нежно тоскующая о попадье Анюте, только тогда и получало свободу и обретало способность рисовать отчетливые картины, когда оно уносилось прочь от всего, что могло скрываться под черным платьем.

Ночами, на террасе, дождавшись той минуты, когда Володя засыпал, думая, что и я уснул под его оживленный говор, я откидывал одеяло и, глядя сквозь крону старого абрикоса на звезды, представлял, что вот попадью Анюту схватили пираты, вроде тех, что делят сокровища под скалой у берега моря на красочном гобелене, который висит над кроватью в спальне бабушки Анны. Попадья Анюта беспомощно стонет. Пираты заламывают ей руки, рвут на ней платье, надменно хохочут. А один из них, тот, что по пояс голый, в фиолетовых шароварах и

красном платке, завязанном на затылке, уже выдернул из-за пояса нож и занес его над лицом попадьи Анюты, чтоб оставить еще один шрам, на другой щеке. Но тут появляюсь я, одетый во что-то черное и очень красивое. У меня в руках пистолеты. «Негодяи!» – кричу я пиратам, и тут же стреляю – они падают мертвыми. Попадья Анюта растерянно плачет. Она еще не верит в свое счастливое освобождение. Ее платье разорвано на груди. Она закрывает локтями голые груди. Но я вовсе и не думаю разглядывать ее, как разглядывал в сарае Заиру. Я гордо и благородно смотрю куда-то в сторону и вверх. «Ты хочешь поцеловать меня?» – говорит Анюта, глядя с покорной нежностью. «Нет, ничего этого не надо!» – великодушно отвечаю я; на моем лице выражение мужественной грусти... Или все ж таки я целую ее – но не там, под скалой, внутри гобелена, а в жарко натопленной хижине посреди заснеженных гор, где я спас ее от других злодеев... Или нет: весь израненный и измученный, после долгого боя с бесчестным соперником, который тоже любил попадью Анюту, но был мною убит, я говорю ей: «Прости! Я победил его!» – и устало уезжаю верхом на коне. А она кричит мне вдогонку: «Вернись, вернись! У меня нет никого, кроме тебя!» Попа Васька я, разумеется, не брал в расчет; ему не было места в этих картинах, и он, словно зная об этом, сразу же исчезал из моей головы вместе со своим нелюдимым домом, Александровской церковью, круглой бородкой, перепачканной рясой и подвижными глазами, полными веселого сверкающего коварства, как только моя фантазия, поставленная на службу печальной и одинокой любви, принималась за свою утешительную работу.

Я засыпал лишь под утро, не замечая, как мои послушные грезы превращаются в свои вольные сны, где все происходит совсем не так, как мне хочется, где я убегаю и никак не могу убежать (потому что воздух вокруг меня слишком плотный) от попа Васьки, который гонится за мной по улице, возглавляя недобрую толпу, ошестинившуюся ножами и палками. «В степь его! Выгоняйте в степь! Там он не полетит!» – кричит поп Васёк, и я радостно вспоминаю, что могу полететь. Я машу руками. Плотный воздух уже не мешает мне, а, наоборот помогает. Я отталкиваюсь от него раскинутыми руками и медленно поднимаюсь вверх; потом переворачиваюсь горизонтально и лечу над толпой вниз лицом. Толпа страшно злится на это чудо, тычет в воздух ножами и палками, но достать до меня уже не может. Я очень высоко. Мне хочется подняться еще выше. Я сильнее машу руками и с ужасом ощущаю, что начинаю падать – воздух не держит меня. Я падаю все быстрее и быстрее и с нарастающим страхом жду того мига, когда ударюсь о землю. Но вдруг какая-то сила все меняет вокруг меня – я оказываюсь на чердаке нашего дома и вижу: возле печной трубы стоит попадья Анюта. Она нетерпеливо стучит кулаками в трубу и просит там кого-то: «Пустите меня! Пустите! Спрячьте!» Потом оглядывается на меня и говорит: «Ну что же ты стоишь, помогай мне!» Я подхожу к трубе и тоже стучу. Но мне не хочется, чтоб попадью Анюту пустили туда, и поэтому я стучу тихонько – только делаю вид, что стучу. Она замечает это. «Не так! Не так! Стучи громче!» – выкрикивает она, и голос у нее такой же злой, как у Заиры. И тут я только вижу, что и блузка на ней такая же, как у Заиры, и кроме блузки больше нет ничего. Я бью кулаками в трубу изо всех сил, чтоб не смотреть на попадью Анюту, но взгляд мой сам устремляется к ее голым, белым, как мел, ногам. И в тот миг, когда я уже должен увидеть, что у нее *там*, труба с грохотом рушится.

Бум-бум-бум! Там-там-там! – слышу я оглушительные звуки. Но они уже принадлежат утренней, солнечной яви, где Володя катается по террасе на самокате, сильно ударяя в пол ногой, чтоб разбудить меня.

Черва

Все в округе мечтали знать, зачем латыш живет у нас в низах, – что он там делает, кроме гимнастики? Но узнать это было невозможно, потому что латыш никого не пускал в свои комнаты – ни молочницу, ни почтальона, ни настырных подружек Майи, которые ночами царапа-

лись к нему в окна. И сам выходил редко. В жару вообще не показывался на улице. Зимой гулял охотней. Одевался легко даже в лютый мороз. Шел себе по скрипучему снегу в лакированных тонких туфлях, черных наглаженных брюках с серебряными блестками и коротком пальто поверх белой рубашки, расстегнутой на шерстяной груди, от которой клубами валил лоснящийся пар, пропитанный запахом «Шипра».

– Эй, Екабс! Яйца заморозишь! – кричала ему грубым охрипшим голосом Олимпиада, закрывая пуховой варежкой простуженный нос.

– Иди ко мне, я тебе их отопрею в ладошках! – пищала, высовывая бледный подбородок из-под шарфа, Майя; она топталась возле нарядных подруг на углу Кавказской и спуска Разина, одетая в громадную шубу и валенки.

– Ты что, дура?! В твоих ладошках они не поместятся! – испуганно и сердито возражала ей Саша, смеясь глазами. – Они же у него вот такие! – она обхватывала растопыренными пальцами, туго затянутыми в красные кожаные перчатки, невидимый шар величиною с арбуз. – Правда, Екабс?

Екабс на это не обижался. На всякий возглас, обращенный к нему, насмешливый или дружелюбный, он радостно поднимал рыжие брови и, вытягивая голову вперед и вниз, словно он нырял в дверной проем под притолоку, приветливо махал огромной ладонью возле виска. Обижались на него блядушки. Говорили, что он хоть и веселый, а никого и ничего не любит, кроме своей длинной задницы, которую он по ночам целует, хитро изогнувшись. Но это были только их ядовитые выдумки.

Екабс на самом деле любил очень многое.

Любил ходить на Московскую – центральную улицу города – в ресторан “Южный”, где он, по рассказам Заиры, игравшей там на пианино, заказывал много водки, вина, коньяка и разных дорогих блюд, которые все оставлял нетронутыми; тратил весь вечер деньги налево и направо, посылая шампанское всякому, кто его поприветствовал из-за столика; а ближе к полуночи с боем покупал одеколонный автомат – фигурный, похожий на тумбочку ящик с зеркальным фасадом и щелью для монеты, который висел на стене перед гардеробом и шумно выбрызгивал, проглатывая двадцать копеек, порцию одеколона из подвижного железного соска на макушке.

Швейцар и гардеробщик торопливо отключали злополучный автомат, снимали его со стены и, сгибаясь от тяжести, отдавали Екабсу, как только он, исполняя свою угрозу, принимался рвать на мелкие кусочки разноцветные деньги и пускать их по гардеробу, как конфетти. Екабс брал автомат под мышку и очень довольный уходил с ним домой.

Наутро Заира, заспанная, с помятыми волосами, отвозила автомат на тележке назад, в ресторан, и забирала там двести рублей, которые Екабс заплатил за него. Заира не сразу их отдавала латышу; она берегла их до того времени (наступавшего очень скоро), когда денег у латыша не было даже на сигареты, и он, все так же чисто одетый и выбритый, пахнувший одеколоном, подбирал на улице окурки, нисколько не стесняясь прохожих.

Получив от Заиры двести рублей, Екабс тут же исчезал куда-то и пропадал несколько дней. Потом возвращался – уставший, зевающий, с провалившимися щеками, покрытыми колечками рыжих волос, и очень счастливый: все карманы его были полны деньгами. На следующий день, выпавшись, он с радостью, с неумным азартом раздавал всем долги – иногда вдвойне и втройне; всякому верил с первого слова.

– А вот в позапрошлую среду, голубчик, ты брал у меня еще троячек, – ударяя на слове «еще», ласково выдумывала бабка Манилиха, уже получив один троячок – тоже в счет придуманного долга. И латыш немедленно вручал ей десятку.

Не обделял он и Троню – просил меня или Володю незаметно подсунуть ему в карман железный рубль, хотя Троня не только ничего не давал ему, когда латыш в дни безденежья, резво шагая в красивом переливающимся костюме в сторону Горбатой улицы, спрашивал у

него на ходу три копейки на трамвай, но и еще испуганно злился – трясся, топал ногами и, ковыряя воздух скрюченным пальцем, кричал:

– Вона! Вона! Хуй свой продай блядушкам, нищенка проклятый!

Любил латыш играть на гитаре, которая казалась маленькой и хрупкой, когда он держал ее в огромных, покрытых шерстью руках и осторожно, словно боясь раскрошить ее пальцами, перебирал струны, сидя на широком подоконнике, боком к раскрытому окну, выходившему в двор, в прохладную яму, выложенную ракушечником.

В низы к себе латыш пускал только Лёсика, которого он (единственный в округе) называл не Лёсиком, а Алёшей. Лёсик считался хозяином этих комнат, которые бабушка Анна, исполняя давнее обещание, подарила ему, как только он женился на Заире. Но Лёсик не хотел жить в низах. Он, и женившись, жил по привычке наверху, под боком у Ангелины, в ее сумрачных комнатах, выходивших окнами во двор, а деньги, которые платил ему латыш – «квалтилантские», как он их называл, – беззаботно тратил в парковом павильоне на вино, папиросы и шоколад, уверяя Заиру, что он «всё до копейки собиает и пляшет в надежном месте».

– Это где ж такое место, курва?! В твоих залитых глазах?! Или у шлюх между ног?! – ехидно вышептывала ему Заира.

– Каких глаз? Каких слух? – всплескивал руками Лёсик – в точности, как Ангелина, когда у нее пригорали пирожки. И тут же бежал в низы, к латышу. Прятался там – лежал на оттоманке, пристроив рядом на полу бутылку вина и стакан и радуясь, что он теперь не видит и не слышит Заиру.

– Что, Алёша, опять тебя покусала за сердце твоя змея? – спросил как-то раз латыш, сидя на подоконнике и поглядывая с веселым сочувствием на Лёсика, вошедшего в комнату с бутылкой вина и огромной подушкой. Латыш не заметил, что Заира в эту минуту стояла, подбоченясь, прямо над ним – на краю оконной ямы.

Подбородок Заиры затрясся, сжатые губы побелели. По ее сузившимся глазам было видно, что она хотела сказать латышу что-то очень язвительное. Но вместо этого развернулась – так резко, что под ногами захрустели камешки, – и быстро пошла в сад. Сидела там в беседке с осохшими, красными от выплаканных слез глазами и негромко, сквозь зубы ругалась: «Змея, сволочь! Сам он змея! Кобель ржий! Не люблю его! Не люблю!»

С той поры Заира затаила обиду на латыша. Не разговаривала с ним, не здоровалась. Не отвозила в ресторан одеколонный автомат. За автоматом теперь приходил швейцар со своей тележкой. Угрюмый, коренастый, жидкой сквозящей бородой похожий на деда Корнея, он долго стоял у ворот и переминался с ноги на ногу, не решаясь открыть калитку.

– Этово, сынок, таво... Сюда... Ага!.. – обрадованно мямлил он, заведя меня сквозь щели в воротах.

Я впускал его во двор и с важностью недоверчивого хозяина, сложив на груди руки, молча провожал к летней кухне, возле которой на перевернутой бочке латыш всегда оставлял автомат. На старика-швейцара эта моя притворная важность действовала пугающе.

– Щас-щас-щас, сынок! Щас! – подбадривал он себя виноватой скороговоркой, укладывая автомат на тележку и быстрыми суетливыми движениями заворачивая его в белую скатерть.

– А деньги кто Екабсу отдаст? – строго спрашивал я у него уже за воротами, подступив к нему вплотную и даже сощутив глаза, как это делала в злобе Заира.

Но за воротами старик не боялся меня.

– Не твоёго ума дело! Прочь, прочь! – огрызался он.

От старика сильно пахло свежевypитой водкой в то утро, когда он не стал огрызаться на мое требование вернуть латышу деньги. Осклабив потное, в пунцовых пятнах лицо так, что из-под растянувшихся губ блеснули мокрые розовые десны, он мирно проговорил:

– А на што они ему, эти деньги? Наиграет себе еш-шо!

– Как наиграет? – спокойно спросил я, затаив удивление.

– Как-как... Охвицеров в карты обкромсает, и всё тут!

– А если офицеры у него выиграют, тогда что? – продолжал я рассудительным тоном, делая вид, что говорю об известном мне деле и надеясь этой хитростью выманить у старика все тайны.

– Да кто ж у ёго выиграет! Он самый наилучший картёжник в городе! А можа, и во всёй области! – с гордостью отвечал раздухарившийся старик. – Вчёра вон двух майоров из Таганрога так обмухлевал, что те и дё се воют на всю гостиницу: ажнок две тыщ-щи за ночь у них оттяпал – пятьсот кровных и полторы казенных! Во!

Так я узнал от швейцара, что латыш – карточный игрок; что он постоянно ходит в гостиницу «Южная», которая над рестораном «Южный», на двух этажах; что там дни и ночи напролет он играет в карты на деньги то с заезжими офицерами, то с актерами из театра Комиссаржевской; что в гостинице его называют Екабсом Червой за красно-рыжую масть и картежную славу; что играет он очень жестоко – не милует ни новичков, ни бывалых; и что нет для него на свете другой радости, кроме карт.

Два майора, две тысячи, карты, гостиница – все это не выходило у меня из головы в тот апрельский день. Украдкой и с жадной пристальностью я всматривался в латыша, стараясь найти в нем что-то новое, необыкновенное – того безжалостного Екабса Черву, который никого не милует и ничему не радуется. И не находил.

Латыш, как обычно, сидел на подоконнике, перебирал струны, курил, улыбался. И вдруг начинал петь. Сам рыжий, он с особенным волнением, закрывая глаза и мотая головой над гитарой, пел песню про рыжую шалаву.

Для кого ты, стерва, бровь свою подбрила,
Для кого надела синий свой берет,
И куда ты, сука, лыжи наострила?
От меня не скроешь ты в наш клуб второй билет!

Рыжая шалава, от меня не скроешь!
Ну а если дальше будешь свой берет носить,
Я тебя не трону, но живьем зарюю,
Прикажу залить цементом, чтобы не отрыть, —

пел он с отчаянным наслаждением. Но поверить, что сердце его наслаждается тоскующей свирепостью этих слов, обещающих рыжей шалаве лютую казнь, было невозможно, потому что в светло-голубых глазах латыша, когда он их открывал, чтоб посмотреть из ямы на весеннее небо, сквозившее в ветках старого абрикоса, обсыпанных крупными и редкими цветами, светилося чувство счастья и беззлобного упоения жизнью.

Прорицание

Бабка Маленькая Махора была на самом деле не маленькой, а такой огромной, что заслоняла туловищем почти весь свой дом, возле которого она сидела на лавке целыми днями. Деревянный, выкрашенный ярко-синей краской, дом ее стоял на Аксайской улице в конце спуска Разина. Спуск упирался в эту улицу, прямо в дом бабки Махоры, в бабку Махору, которая даже с вершины спуска, от Александровской церкви, была хорошо видна. Зимой и летом она сидела перед домом в высоких бурках и громадном тулупе – то крепко спала, то дымила трубкой, всегда торчавшей во рту.

Иногда к бабке Махоре приезжал на коне откуда-то из-за Аксая цыган. Конь казался маленькой собачонкой рядом с ней; он стоял возле бабки Махоры и, наклонив вытянутую

голову, осторожно щипал траву под ее ногами. А цыган тем временем вытаскивал из-за мягких голенищ ее бурок, засовывая туда руку до самой шеи, разные деньги – бумажные, железные, – которые ей опускали в бурки за то, что она разгадывала сны, открывала всякие тайны, гадала на картах, лечила кур, гусей и старух, что-то нашептывая над ними. Цыган был сыном Маленькой Махоры, которая тоже была цыганкой – но с цыганами в степи она никогда не жила. Не жила она и в доме, в котором, наверное, и не поместилась бы. Ее мочил дождь, обдувал ветер; зимой, вся засыпанная приглаженным снегом, она была похожа на огромный сугроб, взбухший под домом после свирепой метели.

Я всегда смотрел на Маленькую Махору издалека – боялся к ней приблизиться. Меня пугало в ней все – черные с проседью космы, свисавшие на тулуп, по которому летом ползали бабочки и гусеницы, белки полусонных коричневых глаз, подернутые мутной синевою, подвижные ноздри, шумно выпускавшие наружу клубы табачного дыма, которые в безветренную погоду еще долго висели плоскими сизыми облаками возле ее верхней губы, покрытой глубокими вертикальными трещинами и морщинами.

Ни за что на свете я не решился бы заговорить с Маленькой Махорой. Но разговаривать с ней мне пришлось.

Это случилось в самый разгар моей несчастной любви к попадье Анюте, когда каждое утро я просыпался с мыслью, что сегодня обязательно увижу ее, и даже скажу, что люблю. Но напрасно я караулил ее возле верхней колонки, что стояла в начале спуска Разина, недалеко от церкви: за водой с двумя ведрами на коромысле выходил поп Васёк. Напрасно кидал камешки в деревянные ставни, когда попадьа Анята оставалась дома одна: дом, скрывавший ее в своих толстых стенах, терпеливо молчал, не отзываясь ни единым скрипом, ни единым звуком. Снова и снова я оказывался возле этого дома, потому что не находил себе никакого другого занятия, как часами смотреть на него, просунув голову между прутьев церковной ограды. Я перестал играть в айданы, забыл о марках, забросил рыбок, которые теперь плавали в мутно-зеленой воде, объедая грязь со стенок аквариума и иногда всплывая вверх животами. По ночам я уже не грезил, а просто плакал от отчаяния, оттого что рядом со мной нет попадьи Аняты. Моя любовь, к которой поначалу лишь примешивалось чувство легкой и светлой тоски, превратилась теперь в сплошную тоску, от которой не было никакого спасения. Все чаще и чаще я слышал, как Ната говорит бабушке Анне, что я плохо ем, плохо сплю и что я, наверное, заболел чахоткой. «Как наш папа», – шептала она, пугая бабушку Анну, и без того боявшуюся самого слова *чахотка*, которым называлась болезнь *папы* – худощавого, с плеткой в руке и гордо злыми глазами на скуластом лице, невысокого человека в погонах и портупелях, которого я видел только на фотографии и о котором бабушка Анна говорила, что он *есаул* и мой прадед.

Меня теперь утешало только одно – мрачная радость, с которой я думал о том, что заболею *есаульской чахоткой* и умру. И вот тогда, думал я, попадьа Анята узнает – ей расскажет об этом мой верный друг Родя, – как я сильно любил ее и как мучился из-за нее.

– Ну почему, почему Васёк ее прячет? Почему она не выходит на улицу? Когда я увижу ее? – хмуро спрашивал я у Родя.

Родя на это пожимал плечами и предлагал пойти на Аксай, переплыть на другую сторону и спрятаться в заброшенном ржавом катере, чтобы увидеть оттуда, из круглого окошка, затянутого крепкой паутиной, как загорает голый на песчаной ребристой прогалине в камышах сестра Енота.

– Спроси про свою Аняту у Маленькой Махоры, – посоветовал мне однажды Родя. – Она всё знает. Только деньги не позабудь – без денег не подходи к ней.

– Почему?

– Она на тебя наступит ногой и раздавит. Или прикажет цыганам, чтобы они тебя украли и увезли в степь. Будешь у них танцевать по ночам и сапоги им чистить. Понял?

– А много ей надо денег? – спросил я.

– Не знаю. Много, – брякнул Родя. – Телескоп вон продай Еноту.

В тот же день я отправился искать Енота, самого жадного и хитрого меняльщика в округе. Как и Маленькая Махора, он жил на Аксайской улице. Но найти его там было почти невозможно. «Гайдает гдей-то!» – отвечал в любое время его одноглазый дед, беспрестанно чинивший ставни на окнах.

К полудню я уже ненавидел эту сонную и безлюдную Аксайскую улицу, чьи дряхлые домики – все, казалось, лежавшие на стенах от страха свалиться вниз, – кое-как лепились к крутому склону холма, там, где склон, выказывая желтый сыпучий ракушечник, завершался расщелинами и обрывами. Я спускался в эти расщелины по узким тропинкам, выводившим к берегам Аксая, заглядывал в полузаброшенные сарайчики на задних дворах, излазил тесные, заросшие кустами проулки между дворами. Енота я нашел только вечером на дне глубокой балки, где он бесцельно палил костер. По моим свежим царапинам, запыленным сандалиям и частому дыханию Енот тут же понял, как долго и упорно я его искал. Он даже не глянул на телескоп, который я держал в руках, гудевших от неотлучной тяжести. Когда же я сказал, что продаю его, Енот изобразил на лице такое угрюмое равнодушие, как если бы речь шла о дымящейся головешке, которую я только что подобрал с земли... Главную драгоценность в округе я продал всего лишь за три рубля! Больше Енот не давал, как я ни упрашивал его.

Выбравшись из балки, я пошел по Аксайской улице прямо к бабке Махоре, зажав в кулаке три рубля одной истертой бумажкой, добытые с таким трудом и с такими жертвами. Прощай, Луна в узорчатых серых пятнах! Прощай, Венера, сияющая бирюзовой бусиной в центре дрожащего темного круга!

– Дурень чертов! Гэть отсюда! – вот и все, что я услышал от Маленькой Махоры, когда, приблизившись к ней, показал на ладони деньги и спросил отстраненно, как у каменного изваяния, полюбит ли меня попадья Анюта и скоро ли я увижу ее?

На следующий день, ранним утром, когда я понуро шел вниз по спуску Разина к Аксайской улице с альбомом марок под мышкой и полными карманами айданов, чтобы выменять у Енота назад телескоп, Маленькая Махора еще издали поманила меня к себе рукой. Я подбежал, остановился в трех шагах от нее.

– Анюту любишь?... Зимой ее увидишь! На санках с ней полетишь, у-у-ух! – сказала Махора и захохотала, затрясаясь – так, что с ее тулупа посыпались на землю сонные бабочки...

Зимой меня уже не мучила любовь. Я даже не вспоминал о попадье Анюте. Я радовался снегу, морозам, пьянящему жару от высокой выбеленной печи, возле которой бабушка Анна сажала меня на крохотной скамейке, как только я приходил с горы, чтобы передохнуть, съесть пирожок, обжигающий небо распаренной курагой, взять на заслонке сухие, окостеневшие вареники и снова бежать с санями на гору, к Александровской церкви.

Снежными январями на горе уже после обеда был шумно и тесно. А ближе к вечеру на вершине спуска Разина, у церковной ограды, в подвижной взвизгивающей толпе, из которой то и дело кто-нибудь вырывался и летел на санях вниз по плотному снегу, местами раскатанному в чернеющий лед, можно было встретить обитателей всех окрестных улиц и переулков. Тут был и Енот, который летом не расставался с Аксайской улицей, и его старшая сестра, долговязая сутулая студентка, которую называли по прозвищу братца Енотихой, – она была старше Енота на десять лет, ровно на столько, сколько было самому Еноту, но он почему-то злобно командовал ею: «Пальто застегни, сучка!», «Рейтузы подтяни, мокрощёлка!» – выдергивая при каждом слове вперед свое крохотное заостренное личико в грязных подтеках; были тут и лихие Володины друзья Паша Черемухин и Федот Мокрогубов – *Черемуха* и *Мокрогуб*, – они бесстрашно катались в полный рост на ногах, гикая на ходу и куря сигареты, брызгавшие алыми искрами; были Саша и Олимпиада, которые то и дело подсаживались сзади на чьи-нибудь санки и, растопырив ноги, обтянутые длинными сапогами, неслись в сверкающем облаке снежной пыли с пронзительным визгом и задорной руганью, сыпавшейся на голову переднего седока:

«Сука! Пацан! Куда рулишь, собачонок? Жопу мне отобьешь!»; были Тоня и немой Фирс, молча и с суровой важностью упорных работников ездившие по спуску вдвоем на громящем листе железа; были маниловские близняшки – обе одинаково растрепанные, раскрасневшиеся от жаркого веселья на морозе. Было множество знакомых и полужнакомых лиц.

Зимние торопливые сумерки быстро меняли окраску морозного воздуха; сначала янтарный, он вдруг становился розовым, потом зеленоватым, все в нем казалось тонким, непрочным, исчезающим, таким же, как белесый полупрозрачный месяц, висевший в пустых небесах завитком дыма. Но уже в следующую минуту небеса окроплялись ранними мелкими звездами и в густой предночной синеве отчетливо вырисовывались темные ветки деревьев, антенны и трубы на заснеженных крышах; ярко проступали выбеленные колонны Максимовской ротонды и вспыхивали округлые макушки обочных сугробов, посеребренные бледным светом из мутно сияющих, заиндевеливших окон. Катание в это время было в самом разгаре.

В такое время и вышла однажды с пустым ведром из-за церковной ограды попадья Анята. Я увидел ее как раз в ту минуту, когда поравнялся с верхней колонкой, поднимаясь с санями в гору. Наклонив голову, Анята шла мне навстречу мелкими торопливыми шагами. Она была в белом пуховом платке; из-под серого кроличьего полушубка на темно-зеленые ботинки с медными пряжками спускалось то же самое – черное, узкое – платье, в котором я видел ее летом. Знакомый шрам, множество раз возникавший в моих грезах, мертвенно белел на ее зарумянившейся от мороза щеке. Мое сердце застучало дробно и гулко; оно провалилось в бездонную яму, когда Анята, приблизившись, вопросительно взглянула на меня: я стоял на ее пути, прямо на узкой дорожке, посыпанной угольной жухелицей, не в силах сдвинуться с места.

– Посторонись, – сказала она, подождав немного и пощупав кончиком ботинка лед за кромкой дорожки.

Но вместо того, чтоб посторониться, я с неожиданной для себя решительностью быстро произнес слова, которые за мгновение до этого и не думал произносить:

– Я тебя знаю, ты Анята, жена попа Васька.

– Не попа Васька, а отца Василия, – спокойно поправила она. И тут же улыбнулась, засмеялась. – И не жена вовсе.

– А кто?

– Много ты хочешь знать, мальчик. Пусти...

– Не пущу. Говори – кто?

– Ой, какой злой выискался, – усмехнулась Анята и поставила рядом с дорожкой на лед звякнувшее ведро. – А вот ты Алексею Мироновичу – кто?

– Какому Алексею Миро... Лёсику, что ли? Племянник.

– И я племянница отцу Василию... Санки у тебя красивые, – вдруг добавила она безо всякой связи.

– Ага, – самодовольно подтвердил я.

Сани у меня были действительно не такие, как у всех в округе, – не железные и низкие с разноцветными рейками, а деревянные, высокие, с деревянными же круто загнутыми полозьями. Их привез из Латвии Екабс и подарил мне вместе с мазью, которой я натирал полозья. Никто не мог обогнать меня на горе. Мои сани скользили легко и бесшумно – так, что я слышал за спиной только шуршание снежного вихря, поднятого ими.

– Хочешь прокатиться? – спросил я.

Анята пожала плечами.

– В Махору боишься врезаться? – догадался я.

– Боюсь, – кивнула Анята.

– Не бойся, поедem вместе. Я буду рулить.

Мы поднялись с ней к церкви на утопанную снежную площадку. Я установил сани. Анята, высоко подобрав подол платья, села на них верхом. Я устроился впереди, раздвинув спиной ее колени, обтянутые коричневыми ребристыми чулками. Кто-то из толпы подтолкнул нас. Как только сани нырнули с площадки на раскатанный лед, Анята вскрикнула и крепко обхватила меня руками.

Сани не сразу набрали привычную скорость. Но когда мы пролетели первый перекресток – спуска Разина и Архангельской улицы, – мне уже казалось, что я никогда в жизни не мчался с горы так быстро. Я задышался от радости и волнения. Внутри меня то проваливался в живот, то поднимался к ключицам мягкий, сладостно подвижный ком; в лицо впивались снежные искры; разрозненные огни в окнах по обе стороны спуска сливались от скорости в сплошные сияющие гирлянды. Мы мчались все быстрее и быстрее. Но до конца горы было еще далеко.

Мы еще не пересекли Кавказскую и только приближались к ротондам, где в моих летних полузабытых снах стояла, раскинув ноги (сама выше ротонд), голая Заира, когда мне захотелось убедиться, что *теперь* я не сплю, что мне *не снится*, будто я качусь на санях с Анятой, что вот она – рядом, здесь, за моей спиной! Я обернулся, чтобы увидеть ее лицо, и в тот же миг почувствовал, понял запоздало, как понимают во сне, что целую ее, целую в губы, ощущая губами твердый желобок ее шрама... Этот нечаянный поцелуй длился, как мне казалось, одно короткое мгновение. Но когда я глянул вперед, я увидел, что мы давно уже пролетели и ротонды, и Кавказскую улицу, и то место напротив дома немого Фирса, где нужно было затормозить и свернуть в боковой сугроб, чтобы не врезаться в бабку Махору. Мы неслись прямо на нее... Я не сразу почувствовал стеклянно-режущую боль, протянувшуюся от ступни до колена в правой ноге, которую я выставил, чтобы развернуть сани. Снова я думал с той особенной отстраненностью от совершающегося события, какую мысль обретает во сне. Думал о том, как нелепо и беспомощно мы выглядим сейчас с Анятой – летим, кувыркаемся, бьемся о снежные кочки и друг о друга, а где-то над нами летят и кувыркаются в воздухе сани, развернувшиеся и перевернувшиеся вместе с седоками...

Боль я почувствовал только тогда, когда всякое движение прекратилось, когда мы с Анятой лежали под ногами бабки Махоры, ударившись об ее громадные бурки, с которых на нас осыпался снег. Мы лежали рядом и смотрели в небо. Вокруг было удивительно тихо и ясно от ночного высокого месяца. Бабка Махора молчала. Она даже не шевельнулась. Она крепко спала.

Персона вне достоверности Цикл повестей

Прощание с архивариусом Краткое исследование издательской деятельности Кутейникова

1

Оно существовало всего три месяца, это призрачное книгоиздательство С. Е. Кутейникова «Донской арсенал» на атаманской улице. В мае оно выпустило две брошюры, в июле – тощую книжицу с помпезным шмуцтитолом и бесследно исчезло. В доме № 14, где оно размещалось, занимая весь первый этаж, пристройку и обширный подвал, в августе, как явствует из рекламного объявления в «Донских областных ведомостях», уже обосновалась французская фотография, оснащенная новейшими аппаратами из Парижа и предметами красочной амуниции средневековых армий Европы. («Жак Мишель де Ларсон увековечит Вашу наружность в романтической обстановке»). В сентябре владелец фотографии поместил в той же газете гневное уведомление, в котором говорилось, что он не имеет ни малейшего понятия об издательстве «Донской арсенал» и что он просит г. г. агентов книжной торговли оставить в покое его заведение и впредь не обращаться к нему с расспросами, где им разыскивать некоего г-на Кутейникова, которого, может статься, вообще не существует в действительности. «Что же касается почтеннейшей публики, – добавлял де Ларсон аккуратным петитом, – то заведение Жака Мишеля на Атаманской, 14, открыто для нее во все дни недели, за исключением вторника. Для желающих преобразить свою внешность имеются накладные усы и бороды из театральных мастерских Амстердама».

Книгоиздатель С. Е. Кутейников откликнулся на это уведомление оригинальным способом. Рождественский номер «Коммерческого вестника» Общества торговых казаков вышел с его портретом. «Мсье Жак, – гласила витиеватая подпись, —

дабы рассеять Ваши сомнения относительно моего натурального пребывания в этом исполненном всяческой жизни, блистательно-сказочном мире и доказать Вам со всей очевидностью, что я не плод воображения г. г. агентов книжной торговли, я помещаю здесь свою фотографию, сработанную на Атаманской, 14. Ваш настырный ассистент уговорил-таки меня, как видите, вооружиться датским мечом и даже наклеить за гривенник Ваши поганые усы из Амстердама. Однако же я надеюсь, что это маленькое фиглярство, на которое я решился благодаря озорной минуте и веселому повороту мысли, не помешает моим компаньонам и многим почтенным торговцам узнать меня на портрете и не судить строго книгоиздателя С. Е. Кутейникова, честь имеющего поздравить всех коммерсантов Области войска Донского с Рождеством Христовым!»

В феврале 1912 года С. Е. Кутейников вновь дал о себе знать. «Озорная минута», выхваченная им из будничного потока времени перед Рождеством, продлилась до Сретения, а «веселый поворот мысли» завел его, вероятно, так далеко, что он уже не мог остановиться на полпути. Словом, он решил продолжить газетную баталию с Жаком Мишелем.

После того, как последний напечатал в газете «Юг»¹ грозный ультиматум, в котором он потребовал, чтобы г-н Кутейников, независимо от того, существует он или нет, публично извинился за свою рождественскую выходку, ущемляющую коммерческие интересы его заведения, – «в противном случае, – писал уязвленный француз, – я принужден буду обратиться в окружной суд, с тем чтобы он взыскал нанесенный мне ущерб либо с таинственного издателя, либо с «Коммерческого вестника», потакающего небезобидному ерничеству этого фантастического субъекта», – Кутейников поместил во всех новочеркасских газетах, за исключением «Донских епархиальных ведомостей» и «Вестника казачьей артиллерии», объявление довольно странного, если не сказать немислимого, содержания:

«Книгоиздатель С. Е. Кутейников сообщает, что в силу неведомых нарушений в извечном миропорядке поколебалась привычная однозначность земного пространства, занятого домом № 14 по Атаманской улице, где обретається и будет обретається вплоть до 1915 года издательство «Донской арсенал». Каким-то непостижимым способом сюда внедрился фотографический мастер Жак Мишель де Ларсон, чье назойливое заведение в этом месте и в это время,² на взгляд издательства, не более, чем фантазия и пыль. Удивительно, что тоже самое утверждает и г-н Ларсон относительно издательства «Донской арсенал», которое готовит в настоящее время дополнительный тираж «Исторических разысканий Евлампия Харитонов о походе казаков на Индию». То обстоятельство, что при нынешнем обороте действительности заведение г-на Ларсона обладает, по всей вероятности, в большей степени счастливым качеством зримости, никоим образом не отразится на превосходной внешности наших книг, для которых уже закуплена отличная и вполне ощутимая бумага фабрики «Токгаузен и КО» в Екатеринодаре».

Какое впечатление произвело на француза это объявление, неизвестно. Известно только, что войсковой атаман Павел Иванович Мищенко на своем экземпляре «Гражданских новостей» (он получал их в 7.30 утра) прямо на объявлении Кутейникова написал огромными буквами, синим карандашом «Тю!!!» и послал на Атаманскую, 14, дежурного вахмистра с конным отрядом.

Разумеется, никакого издательства ни в доме № 14, ни в соседних домах вахмистр не нашел. В рапорте атаману он, однако же, доложил, что ему «удалось обнаружить некоторую невразумительность в ехидной фигуре француза Ж. М. де Ларсона, которая производит на Атаманской, 14, фотографические портреты лиц всех сословий, сама же на себе никакого устойчивого лица не имеет и может представиться в натуральном виде не токма что французским фузилёром, но даже хорошенькой маркитанткой. А так как означенный дом совершенно дьявольским образом погрузился в обманчивость сгинувшей жизни и невозможных времен, то и фигура упомянутой маркитантки <...>» Впрочем, нет нужды цитировать далее этот нелепый

¹ С ноября 1911 по январь 1912 две газеты Области войска Донского носили название «Юг». Одна – в Ростове-на-Дону, издаваемая Минасом Ильичом Балабановым, другая – в Новочеркаске, учрежденная Ассоциацией немецких аптекарей (издателя Роллер и Фреттиг). Известно, что Балабанов неоднократно просил аптекарей, чтобы они изменили название своей газеты, но те всякий раз отвечали отказом, предлагая ему решить спор на юридическом основании. Балабанов, без сомнения, выиграл бы судебный процесс, так как его газета – бывш. «Донская пчела» – имела название «Юг» с 1893 года. Однако же он предпочел официальным решениям частное лихачество. Он выкупил у аптекарей право издания, выпустил, не меняя названия, три номера (в одном из них напечатал свое объявление Жак Мишель) и закрыл газету. И все это, очевидно, Балабанов проделал лишь для того, чтобы затем заявить в своем «Юге» на первой полосе, что «случайно возникший из склянки и во всем подобный эфиру аптекарский «Юг» в Новочеркаске улетучился к дьяволу!» (Здесь и далее – прим. автора).

² Слова «в этом месте и в это время» набраны во всех газетах пиццо. «Буквы сего шрифта, – как замечает преисполненный совершенно неуместной поэтичности «Карманный словарь наборщика» (Новочеркасск, 1904 г.), – выглядят на фоне петита или бисерной непарели громоздкими жуками, угодившими в муравьиный плен».

рапорт: вахмистр, согласно донесению караульного сотника, сочинял его «уже сильно нетрезвый», на гауптвахте, в бакенбардах а-ля Франц Иосиф, в которых он сфотографировался у Жака Мишеля и в которых ездил все утро по городу, разыскивая, как он всем говорил не без гордости, «демоническое издательство inferнального свойства», пока наконец не взят был под стражу в ресторации Фридриха Брутца на углу Скородумовской и Московской. Заслуживают большего внимания вполне достоверные, хотя и растворенные в бравурной риторике сведения,³ что заведение Жака Мишеля посетил в тот же день (то есть 2 февраля по старому стилю) и сам войсковой атаман; нагрянув поздно вечером на штабном автомобиле в сопровождении двух адъютантов по гражданской части, окружного квартирмейстера и целой свиты верховых офицеров, весело гарцевавших с оголенными шашками по обе стороны невозмутимого «Руссо-Балта», всполошившего певучим клаксоном всю улицу, он тщательно осмотрел сначала снаружи (обойдя его дважды), а затем изнутри таинственный дом (принадлежавший, впрочем, Обществу взаимных кредитов), спустился в подвал, заглянул во флигель, похвалил Жака Мишеля за прилежное содержание арендованных помещений и уехал, купив у него фламандскую гвизарму для своей оружейной коллекции.

Наутро чиновник особых поручений атаманской канцелярии доставил Жаку Мишелю пакет, в котором находились бакенбарды, снятые с вахмистра в «освежительной камере», и предписание начальника интендантского отдела войскового штаба, обязывающее всех держателей фотографических салонов, действующих на территории Области войска Донского, выполнять следующие требования:

«1. Фотографировать рядовых и приказных казаков, унтер – и обер-офицеров, а равно и штаб-офицеров казачьих войск только с имеющимся у них уставным оружием и в принадлежащих их званию мундирах.

2. Исключить из процедуры фотографирования наклеивание усов, бровей и проч. лицевой растительности, дабы всякий военный чин, действительный или отставной, а также свободный от военной службы казак имел на портрете свой собственный, Богоданный вид.

3. Изъять из употребления в фотографических целях бутафорские либо подлинные вещи, относящиеся к военному быту иноземных армий любых времен.

4. Не изображать посетителей – как военных, так и гражданских – в виду полотен и ширм, рисующих вымышленные баталии, а также любые исторические военные действия, к коим Российская армия не имела касательства.

Всякий фотографический мастер, нарушающий эти требования, будет оштрафован первоначально на сумму в 200 руб. ассигн. в пользу войсковой казны, а при повторном нарушении выдворен за пределы Области войска Донского».

Можно представить, в какое отчаяние повергло это неожиданное предписание изобретательного француза, сумевшего поставить свое дело так, что в городе закрылась, не выдержав с ним конкуренции, старейшая фотография Кикиани и Маслова. (Гигантский бердыш, который они повесили в витрине, и обещание фотографировать в стрелецких кафтанах не прельстили своенравную публику.) Отчаяние побудило Жака Мишеля немедленно рассчитаться с нена-

³ См.: «Хроника всех торжественных, ординарных и частных выездов 23-го наказного атамана войска Донского Павла Ивановича Мищенко на четырехцилиндровом автомобиле Русско-Балтийского завода, подаренном войсковому штабу Великим князем Николаем Николаевичем в ознаменование 5-й годовщины героического кавалерийского рейда казаков на Инкоу», – «Донская дельта», 1913, № 86. Подпись – «Механик», С. М. Краснов (?).

вистным ему издателем, беззаботно кружившим неуязвимым газетно-бумажным призраком над Атаманской, 14. Решив исполнить свое намерение, о котором он заявил в аптекарском «Юге», он уже нанял адвокатов, сочинил с ними иск против Кутейникова и изготовился к бою, как вдруг получил записку от есаула гвардии, адъютанта по гражданской части, князя Степана Андреевича Черкесова. Написанная орешковыми чернилами,⁴ какие тогда уже не водились в канцеляриях, и вложенная в обычный, без войскового герба, конверт, записка была, несомненно, приватной и даже в некоторых местах шутиливой, но вместе с тем она не могла не остудить сутяжнический пыл Жака Мишеля.

Адъютант сообщал ему, что войсковое начальство не оставило без внимания возникшее между ним и Кутейниковым недоразумение. «Мне поручено разобраться в этом деле, – писал Черкесов, – однако же без того, чтобы притеснять кого-либо из вас. Речь идет о личном интересе атамана к Вашим таинственным контрам с Кутейниковым. Павел Иванович полагает, что за ними кроется нечто чрезвычайное. Скажу Вам более, он вполне допускает возможность, что Кутейников вовсе не шутит в своих последних объявлениях. Надеюсь, Вы не станете расценивать это мое сообщение Вам как требование не предпринимать никаких шагов против Кутейникова. Упаси Вас Бог так истолковать мои слова! Я хочу лишь дать Вам сугубо житейский и вполне дружеский совет – не раздувать скандала и по возможности относиться терпимо ко всяким причудам г-на издателя, батюшка которого, Ефрем Афанасьевич, служивший у нас каптенармусом, а при Самсонове ведавший аж войсковым арсеналом! был тоже небезызвестный шутник и фанфарон. Представьте себе, запугал однажды лейб-трубачей Государя, ехавших на Кавказ, какими-то невообразимыми разбойниками, которые будто бы не боятся пуль, а только трепещут в мистическом ужасе перед всякими топорами, кои имеют форму священного для них полумесяца; потом вооружил их, шельма, с самым серьезным видом – с расписками и наставлениями – бомбардирскими алебардами, валявшимися в кордегардии Бог знает с каких времен, да еще отписал атаману в отчете: «Сие ободряющее оружие выдано доблестным музыкантам Его Величества как наилучшее, по их разумению, для устрашения злонамеренных горцев», – говорят, что Самсонов смеялся до слез, хоть и отдал прохвоста под трибунал... Надеюсь также, м-е Ларсон, что вы не усомнитесь в полезности моего совета. Разумеется, Вы вольны пренебречь им и руководствоваться собственными соображениями, в том числе и соображениями коммерческой выгоды. Но если уж речь здесь зашла о выгоде, то я хотел бы заметить Вам, что Вы обязаны в некотором роде нынешним процветанием Вашей фотографии именно г-ну Кутейникову. Шутит он или нет, но он привлек всеобщее внимание к Атаманской, 14, а стало быть, и к Вашему заведению. Публика, и в особенности гражданская, падкая до всякой загадочности, атакует Вас с утра до вечера, и Вы, как я слышал, уже едва справляетесь с заказами. Не думаю, чтобы Вас при таком обороте дела серьезно смущало то обстоятельство, что в обиходе Вашу фотографию стали называть «кутейниковскою», тем более что Вы и сами приложили к тому немало усилий. Я недавно проезжал по Атаманской и видел у Вас в витрине – я не мог ошибиться! – огромный портрет Кутейникова в усах и с моноклем. Более того, у меня есть сведения, что Вы скупили в магазине Сущенкова все книги, выпущенные «Донским арсеналом», и, пользуясь случаем, продаете их своим посетителям по довольно высокой цене, – те экземпляры «Исторических разысканий Евлампия Харитонova о походе казаков на Индию», на которых Ваш ассистент умело подделал дату и которые выдаются за тот самый мифический «дополнительный тираж», якобы уже выпущенный Кутейниковым, – где-то Бог его знает где,

⁴ При свете солнца и низкой влажности они выцветают быстрее, чем ализариновые; иногда оставляют исследователям лишь золотистые искорки – нетленную, но, увы, уже молчаливую душу слов. Зато в сырости, как утверждают специалисты, эти чернила из отвара цецидий приобретают удивительную стойкость! Один лукавый старик... впрочем, опытный архивариус, помогавший мне советом и делом, сказал как-то раз в беседе за чаем: «Если бы не сырой подвал, – он указал мельхиоровой ложечкой в сторону Атаманской (ныне Советской), где была обнаружена в 1969 г. во время строительных работ записка Черкесова, – то вам, сударь, вероятно, пришлось бы выдумывать сей документ».

в чудодейной незримости, – идут по 15 руб., не так ли? Впрочем, меня это не касается. Как должностное лицо я могу указать Вам только на то, что Вы уже целый месяц нарушаете 4-й пункт предписания начальника интендантского отдела войскового штаба. Имейте в виду, он человек проворный и неумолимый. Даже интерес атамана к Вашей персоне не мешает ему выдворить Вас, к примеру, в Воронежскую губернию, где порядки мягче, но климат суровее да и коммерция не столь оживленная, как в нашей благословенной столице!

Марта 6-го с. г. Атамана войска Донского адъютант по гражданской части кн. Черкесов».

2

Строго говоря, фотограф де Ларсон вовсе не нарушал 4-го пункта предписания начальника интендантского отдела войскового штаба, как на то указывал ему адъютант Черкесов. Полотна и ширмы, «рисующие вымышленные баталии и походы, а также любые исторические военные действия, к коим Российская армия не имела касательства», он незамедлительно убрал. И заменил их другими. Они являли собою, как пишет журнал «Фотографический курень» (№ 4, 1912), «нечто вроде постраничных иллюстраций к нелепейшим «Историческим разысканиям Евлампия Харитоновича о походе казаков на Индию», кои выпустил в прошлом году в своем скандально известном, хотя и лопнувшим как мыльный пузырь «Донском арсенале» г-н Кутейников». Именно эти ширмы и имел в виду адъютант, запугивая француза колючими январями и знойными комариными июлями Воронежской губернии, скучающей в глубине континента. Однако же дело обстояло так, что использование этих ширм, которые приносили де Ларсону фантастический доход («Шутка ли сказать, – писал язвительный корреспондент «Фотографического куреня», – обыватели выстраиваются в очередь и платят, не задумываясь, по десяти рублей только за то, чтобы просунуть свои физиономии в овальные прорезы и стать таким образом воображаемыми участниками каких-то невозможных в истории и по виду довольно разнузданных сцен, вроде переправы казаков через Инд и прочей глупости! Куда же смотрит наше войсковое начальство, которое якобы так печется о пуританстве в фотографическом деле, издавая при этом, к слову сказать, уморительные указы!»), не противоречило 4-му пункту предписания. О походе казаков на Индию нельзя было сказать, что он является вымышленным, так же, как нельзя было отрицать, что в нем принимало участие сорок донских полков – двадцать три тысячи присягнувших на верность российскому престолу казаков и казачьих офицеров. Поход, предпринятый по приказу императора Павла Петровича, которым вдруг овладела в неистребимой сырости Михайловского замка, окутанного петербургскими выюгами, пылая, согревающая его мечта завоевать колонию Англии, щедро осыпанную лучами солнца, огнепалимую Индию, начался 27 февраля 1801 года. В два часа пополудни, после того, как в войсковом Воскресенском соборе Старого Черкаска была отслужена торжественная литургия, а затем прочитан на Ратной площади у церкви Преображения напутственный молебен, авангард из тринадцати полков, возглавляемый походным атаманом генерлом Матвеем Платовым, двинулся на восток. За ним, выдержав первоначальную дистанцию в десять верст, вышли артиллерийские полки, потянулись обозы, нагруженные провиантом, свинцом, фуражом, порохом, ядрами, стругами, и, наконец, уже в сумерках пределы города покинул конный арьергард...

Жак Мишель де Ларсон, как иностранец, да к тому же еще человек гражданский, вовсе не обязан был знать, что поход казаков на Индию завершился утром 24 марта того же года в каком-то Богом забытом хуторе на юго-востоке Оренбургской губернии. В качестве оправдательного документа, подтверждающего историческую достоверность сцен, изображенных на его ширмах, он мог выставить (да и выставил в буквальном смысле – прямо в витрине) книгу, выпущенную Кутейниковым, который отважился заявить в предисловии, что он несет «полную ответственность за это издание, так как автор, отставной подъесаул Евлампий Макарович

Харитонов,⁵ скончался в станице Покровской, не успев подписать формального согласия на публикацию своих разысканий».

Француз не обязан был знать и того, что источники, которые цитировались в этом сочинении, были (на взгляд любого – даже не очень-то разборчивого – профессора) в высшей степени сомнительными: какие-то «бутанские рукописи» начала XIX столетия, якобы переведенные автором с языка бхотия (тибето-бирманская группа), всевозможные «записки» разных языков путешественников, колесивших в 1801 году по Азии и видевших казачьи дружины кто в Персии, кто на склонах Каракорума, «походные дневники старшин» и прочие «свидетельства», неизвестно как и где добытые любознательным подъяесаулом. Жаку Мишелю достаточно было того, что в «Разысканиях», которые были написаны, как уверял издатель, «на основании новых и весьма достоверных сведений», утверждалось, будто «донской Бонапарт» – так называл Харитонов генерала Матвея Платова – довел казачьи полки до заснеженных Гималаев, а не до оренбургских степей, «как то считалось ранее». «Весь поход, – говорилось на 29-й странице, – завершился блестяще – в полном соответствии с замыслом императора Павла, который вовсе не думал завоевывать Индию, а только хотел казачьими шашками пригрозить с Гималайских вершин зазнавшейся Англии». (На ширме Жака Мишеля – как видно из иллюстрации в «Фотографическом курене» – это изображалось так: казаки, сбившись в кучку на острие горного пика, окутанного облаками, браво размахивают шашками, палят из фузей и штуцеров, а на них с ужасом взирает, высунувшись по пояс из окошка Букингемского дворца, Георг III.) Далее, на страницах 44–53, Евлампий Макарович подробно рассказывает о том, как какой-то «седой старшина в епанче» уговорил атамана Платова не поворачивать полки назад по повелению нового императора Александра Павловича, а выполнять приказ – предыдущего, скоропостижно скончавшегося в ночь с 11 на 12 марта Павла Петровича. «Потому что смерть приказавшего, – сказал седой старшина, – не отменяет его приказа. И в этом, ваше превосходительство, весь смысл воинской доблести». Спустя две страницы отставной подъяесаул, видимо, спохватившись, сообразив, что этого седого старшину за таковые глаголы генерал Платов, скорее всего, одел бы в кандалы, выдвигает на всякий случай и другую версию. Авангард (теперь уже только авангард) из тринадцати полков продолжил поход на Индию потому, что гонец от генерала Орлова, командовавшего арьергардом и получившего пакет из Петербурга, не доскакал до генерала Платова, «уже зело углубившегося в восточные владения России», – погиб в степи. И доблестный генерал Платов так и не узнал, что юный Александр, «жалуя казаков отчими домами», повелевает прекратить поход на лучезарную Индию, затеянный его родителем...

Словом, весь смысл книги сводился к тому, что поход, – по мнению немногочисленных его тогдашних исследователей, самый бесславный в истории войска Донского, – был блестящим и славным. Конечно же, ничего дурного не было в этом стремлении отставного подъяесаула представить поход вопреки всему в лучшем виде. Быть может, Евлампий Макарович, если он действительно жил на свете, если его не выдумал г-н Кутейников, сам участвовал в этом походе (Кутейников пишет в предисловии, что он умер в возрасте 132 лет), и он, быть может, всю свою долгую жизнь таил обиду и на императора Павла, пославшего его в этот (впоследствии всеми забытый) экспедицион, и на императора Александра, не давшего ему помахать шашкой на Гималайских вершинах. И от обиды выдумал книгу – написал ее перед смертью, сидя с пером, в очечках и бурках, под крышей какого-нибудь древнего куренька. Так обстояло дело или иначе, ясно одно: сочинение подъяесаула скорее всего осталось бы незамеченным. В отчетах Общества распространения полезных книг в Области войска Донского за 1911 год оно

⁵ В списках отставных обер-офицеров войска Донского, получавших пенсион в 1900–1911 гг., Е. М. Харитонova нет. Никаких сведений о нем не удалось обнаружить и в других источниках, так же, как и об авторах майских брошюр «Донского арсенала»: Степане Харузине («Великие тамбурмажоры») и Павле Туркине («Тайны жалонёрского искусства»).

отнесено к разряду «частных исторических экскурсов отставных военных чинов, кои на сегодняшний день не пользуются спросом». Однако недоразумение, возникшее между издателем и фотографом, или, как выражались газетчики, «дело о раздвоении Атаманской, 14» (о том, что оно негласно расследуется гражданским адъютантом, знал, разумеется, весь город), вывело «Исторические разыскания Евлампия Харитонов...» спустя несколько месяцев и на целых три года в разряд книг «наиболее читаемых, хотя и малополезных».

3

В июле 1912 года новочеркасский корреспондент балабановского «Юга», ссылаясь на «весьма осведомленное лицо из войсковой канцелярии», сообщил, что адъютант Черкесов, якобы имеющий на руках сенсационные факты, связанные с Атаманской, 14, готовит специальный рапорт атаману по этому делу. «Не исключено, – говорилось в заметке, – что вскоре мы получим от того же лица кое-какие сведения о содержании рапорта и узнаем таким образом, каково живет г-ну Кутейникову в том запредельном мире, откуда он нам посылает свои шутовские весточки и баснословные тиражи».

Это было последнее печатное упоминание о донском книгоиздателе С. Е. Кутейникове.

Никакого специального рапорта атаману адъютант Черкесов, судя по всему, не писал – во всяком случае, обнаружить этот рапорт или хотя бы найти сообщения о нем более достоверные, нежели в балабановском «Юге», не удалось, – и потому последним рукописным источником, содержащим сведения о Кутейникове, можно считать датированное 20 августа 1912 года письмо Черкесова к дочери, жившей тогда в Петербурге в гостинице Главного управления казачьих войск на Караванной.⁶ За исключением половины первой и двух последних страниц, оно посвящено издателю, но так как на пяти страницах князь сообщает уже известные факты, целесообразно будет процитировать его со середины шестой:

«<...> Что до меня, Анята, то я не нахожу здесь ничего, кроме философических шалостей г-на Кутейникова, который, как мне стало известно, проповедует повсюду и в разном виде, добравшись даже до газет, довольно странные воззрения на феномен времени. Он полагает, что времени как такового не существует вовсе. Пытался в этом убедить и меня (я разговаривал с ним еще весною по телефону: сам телефонировал мне в штаб). То есть, Анята, он не то чтобы отрицает время, а говорит, что не существует прошлого и будущего, а есть только одно неделимое и вечное Настоящее, или, как он излагает, Настоящее настоящего, Настоящее прошлого и Настоящее будущего. Между ними, по его разумению, не существует решительно никакой разницы, в силу чего не только все вещи, но и люди, события, действия обладают божественным свойством неисчезновенности. Все есть, как есть, и все есть всегда: никогда не начинало быть, пребывало вечно и не перейдет во веки веков. Когда он пытался внушить эту мысль редактору «Епархиальных ведомостей» (он и там хотел поместить свое нашумевшее объявление, которое я тебе посылаю), ему указали на Книгу Бытия, а потом на дверь... Да вот и я думаю, Анята, разве не было Начала, разве не было Сотворения Мира и разве не будет Конца?.. Но послушай, что говорит далее этот г-н Кутейников: несовершенный человеческий разум, уязвленный бессмысленным страхом смерти и охваченный непрерывной текучестью чувств, возомнил, что он движется в океане этого неизбывного Настоящего, да еще в некотором направлении – от прошлого к будущему. Наподобие тусклого светильника он, т. е. разум, высвечивает ничтожное пятнышко света на поверхности необозримого океана Времени и не

⁶ Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность и желаю всяческих благ и поныне здравствующей княгине Анне Степановне Черкесовой, приславшей мне из Люксембурга (где она содержит крохотный и трогательный музей стеклянных бомбилаток!) фотокопию этого письма. А также искренне благодарю ее бывш. гувернантку Екатерину Павловну Мандрыкину, которая сочла возможным поручиться за меня в письме к княгине, сообщив ей, что я в своем «частном и несколько мечтательном изыскании о каком-то старинном издателе» вовсе не преследую «побочной цели как-нибудь очернить или представить превратно деятельность Степана Андреевича на посту гражданского адъютанта».

видит весь *круг* своего бытия, составленный из мириадом этих светящихся пятнышек, слитых воедино. Мрак неведения скрывает от человека восхитительную полноту его бесконечной и безначальной жизни, и оттого он полагает, что жалкое пятнышко света – драгоценное здесь-и-теперь – и есть его печально-желанный удел, что только в нем, лучезарном и зыбком, исчезающем постоянно, он существует весь целиком. Эта безумная вера в мимолетность настоящего мгновения и есть, по словам Кутейникова, наказание Господа за грехопадение прародителей. Но Господь милосерден, Он наделяет некоторых Своих детей первоначальным зрением. И вот, Анята, представь себе, Кутейников утверждает, что он не только исполнился божественного видения мира, развернутого в вечном Настоящем, но и обрел упоительную способность находиться по собственному разумению и с ясным сознанием как во всем *круге* своего бытия, так и в любой его отдельно взятой точке. Он уверял меня, что он разговаривает со мною по телефону из 1915 года и что только теперь, или тогда? или как тут еще сказать, Анята? словом, там, в 1915 году, он закрывает свое издательство, освобождая французу Атаманскую, 14. Когда же я ему сказал, что здесь, у нас, в 1912 году француз собирается с ним судиться, он ответил равнодушно:

– Если вы ему помешаете, князь, вы сделаете богоугодное дело. Этого суда не должно быть в извечном миропорядке. Так же, как и французского заведения на Атаманской, 14, не должно быть до 1915 года. А то, что оно у вас там существует, – это досадное недоразумение. Когда-нибудь, князь, всё станет на свои места.

Он говорил мне, Анята, что он переживает в своей жизни одновременно всё – и тяжелое ранение под ключицу на какой-то великой войне, за-ради которой от теперь там бросает свое издательство, и первые младенческие шаги по лоснящемуся паркету в доме своего батюшки на Кадетской, и предсмертные судороги в Люксембурге, где он будет, или выражаясь его невозможным языком, *есть* похоронен в 1927 году. Да еще – ты только подумай – рядом со мною! Говорит, будто мы будем жить с тобой в Люксембурге и будто бы там я умру, и даже не умру своей смертью, а эдак вычурно застрелюсь – на публике, в ухо – от тоски по нашим донским раздольям. И что же это мы будем искать там, в Великом Герцогстве? А? Воевать его будем? Или выйдет какое-нибудь назначение? Что же, Анята, поедем. А затоскуем, напишем рапорт атаману – так, мол, и так, возвращай нас на Дон... Что нагнал я на тебя грусти, петербургская стрекоза? Да ты не слушай меня, старого дурака, шучу я. Потому как скучаю. Лето уже на исходе. Скоро ли ты приедешь<...>»

4

Из окон дома архивариуса на бывшей Кавказской улице хорошо видна Александровская церковь. В те дни, когда старик забывает ходить на работу, а такое с ним происходит часто, ибо с некоторых пор он перестал ощущать, как он сам выражается, «изменчивость пейзажей по берегам временного потока», то есть может доплыть нечувствительно, с каким-нибудь майским деньком в голове до середины июля, он сидит у окна, смотрит на Александровскую церковь, мечтает: не отвяжет ли какой-нибудь хлопотливый ангел воздушного змея, зацепившегося за крест; не упорхнет ли вслед за летучими облаками сиреневый куст, выпроставшийся из-под купола. Хорошо, если исследователь свел знакомство с архивариусом именно в такие, слитые для него воедино, неосязаемые дни. Память Кузьмы Ильича благодаря неизменному впечатлению (ангелы праздны, а куст неподвижен) оживляется до чрезвычайности. Он может вспомнить неожиданно какой-нибудь редкий источник, исполненный сведений о предмете, который казался тебе столь зыбким, столь безнадежно забытым, а иногда и просто эфемерным, что ты готов был уже отказаться от притязаний на сладкое право быть его первым исследователем; может указать безошибочно номер архивной описи, включающей некую единицу хранения – вождельный документ, без которого шатки и крайне сомнительны все твои построения и кото-

рый являлся тебе лишь в осторожных фантазиях. Плата за эти поистине неоценимые услуги Кузьмы Ильича невелика – упомянуть его в примечаниях, поблагодарить в скобках, сослаться на него в комментариях. Многие исследователи обещают ему это с большой горячностью. Но потом, как правило, бессовестно обманывают старика. Ни в статьях, ни в обширных докладах (иногда целиком построенных на драгоценных сведениях, извлеченных в тягучие сонные дни из его ободрившейся памяти) не уделяют ему ни единого слова. Кузьма Ильич, конечно же, не знает об этом. А если бы и узнал, то, скорее всего, не обиделся бы на забывчивых щелкоперов. Во всяком случае, он не стал бы скандалить с ними так увлеченно и пылко, как он скандалит с гонцами из архива, которых к нему посылают время от времени, чтобы как-нибудь – часто обманом – залучить его на работу.

– Да вы, сударь, в своем ли уме! – кричит он солидному усачу в ядовито-оранжевой строительной каске, представившемуся прорабом. – Вы что же это, за дурака меня держите, а?! Бумаги... он раскопал бумаги! Да я вас сразу узнал. Вы из отдела копирования. Ваша фамилия Петряков!

– Не Петряков. Петрянов. – Усач смущенно снимает каску. – Надо бы на работу, Кузьма Ильич. Работать. Ра-бо-тать, – выговаривает он отчетливо, как будто бы изъясняется с иностранцем.

– Вот то-то и поработали, – отзывается архивариус. – Небось бульдозером воротили?!

– Это как же... то есть... Кузьма Ильич?

– Молчать! Молчать! Ваш брат всегда норовит – бульдозером. А бумага вещь нежная, прихотливая... Что, если архив генерала Богаевского! а? Он, кажется, жил одно время на Свердлова, то бишь, дьявол вас разорви! на Горбатой... Какой вы там дом ломали?... Нумер! Нумер скажите! – восклицает он возбужденно. И уже невозможно понять – то ли Кузьма Ильич доигрывает (в отместку? из баловства?) прерванный им же спектакль, то ли действительно каким-то странным образом принимает все ж таки за прораба уже опознанного было гонца.

Гонец, предмет его постоянной бдительности и веселой ненависти, чудится ему во всяком, кто появляется в доме без предупреждения. Помнится, при первой нашей встрече он как-то чересчур уж бодро соскочил со стула, подбежал ко мне и, нацелив оба указательных пальца в мою бороду, радостно закричал:

– Приклеили! Приклеили! А я вас сразу узнал. Вы Соколов! Вентиляторщик! Как вам не стыдно...

Спустя две недели, когда наша работа с Кузьмой Ильичом была уже в самом разгаре, когда он, пребывая неотлучно у излюбленного им окна (с хрустальным изломанным лучиком трещины в наружном стекле), уже цитировал с ходу необходимые мне материалы из дорежимных газет, припоминая даже, каким кеглем они были набраны, вентиляторщик, – то есть, конечно, не вентиляторщик, а инженер технической службы архива, – по фамилии Соколенко действительно появился. Его отчаянный вид и намеренно путанное сообщение о какой-то ужасной аварии (то ли случился обвал? то ли прорвало трубы?), якобы погубившей ценные документы, не произвели на Кузьму Ильича ни малейшего впечатления. Архивариус был далеко. Так далеко, что здесь, в настоящем, где еще оставалась способная видеть и слышать часть его существа, его могло потревожить лишь резкое изменение в той неподвижной, привычной, взятой в двойную рамку арочного окна картине, которую он созерцал беспрерывно. Но там, слава Богу, все выглядело так же, как в 1912 году. Или, по крайней мере, все оставалось на своих местах – и каменные, выстроенные еще платовскими старшинами угрюмые домики с плоскими крышами, поднимающиеся ступенями от Кавказской вдоль ухабистой Красной Горки, беспорядочно вымощенной булыжником; и венчающая эту Горку южная арка Атаманского сада, выложенная из ракушечника, потемневшая и осевшая вровень с оградой; и исполненная величия, хотя и обросшая травами, облепленная кустарником церковь Александра Невского, возвышающаяся над ротондами, смотровыми курганами, павильонами, – и над всеми строениями Ата-

манского сада, где, должно быть, гуляли в весенние сумерки, под звуки уланской мазурки, среди лип и каштанов, озаряемых вспышками пестрых салютов, книгоиздатель С. Е. Кутейников и фотограф Ж. М. де Ларсон...

– Нет-нет, – замечает рассеянно архивариус, – кто-то один из них. Второго положительно не существовало. Господина Кутейникова выдумал Жак Мишель для коммерческих целей... или господин Кутейников – Жака Мишеля. А впрочем, не знаю. Похоже, что не было ни того, ни другого. Напишите-ка еще разок в Люксембург княгине Черкесовой, да не забудьте спросить: не ее ли батюшка давал объявления в газетах? И не она ли разыгрывала француза на Атаманской, 14?.. Как там писал вахмистр... хорошенькая маркитантка? Всё может быть. Всё изменчиво. Никакого извечного миропорядка нет. Лжет Кутейников...

Помню, при этих словах Кузьма Ильич поднялся со стула, отшатнулся от окна и, взглянув на меня тем злобно-веселым, торжествующим взглядом, каким он смотрел на злосчастных гонцов, прокричал:

– Торопитесь! Торопитесь! Княгине, должно быть, за девяносто! Смотрите, как бы не опередил вас проворный гонец от ангела Азраила! А ко мне он... вон он, вон он! – уже спешит! Спускается по Красной Горке...

Почему великий тамбурмажор ненавидел путешествия Публичная лекция, читанная в зимней столице королевства Бутан во время муссонных дождей

Да благоденствует древняя Пунакха, ее окрестности и все царство Друк-Юла, пока стоят Гималаи!

Дамы и господа!

Великих тамбурмажоров было всего четверо. Принято считать, что все они итальянцы. Хотя один из них, Сальвадор Романо, граф Сальвадор Антонович, не только родился в России, но и будучи ярым противником всяких вояжей, никогда не покидал ее пределов без чрезвычайной надобности. Его первый и, по всей вероятности, наиболее осведомленный биограф Степан Харузин настойчиво подчеркивает, что даже из своего излюбленного имения на юге России, в Малом Мишкино, где кроме его небольшой усадьбы, заброшенной дачи атамана Платова и дюжины накрепко вросших в пологий холм куреней, обретался еще выстроенный на его пожертвование, предусмотрительно обнесенный высокой стеной из пиленого ракушечника приют умалишенных – затейливой архитектуры дом, густо обросший с фасада дикой лозой и кучерявым плющом, он выезжал крайне редко. В Венеции, на родине Антонио Романо, своего «непоседливого батюшки» (так называл его сам Сальвадор), он побывал лишь однажды, незадолго до смерти, в 1900 году. Вернувшись домой – зачем-то окольным путем, на пароходе «Санкт-Петербург», ходившем в Россию через Атлантический океан с трехдневной остановкой в Гавре, – он заявил в коротком интервью корреспонденту «Южного телеграфа», что город, «возросший по прихоти деятельного разума на островах лагуны», произвел на него «удручающее впечатление своей назойливой красотой» и что если он и мечтает о чем-нибудь (корреспондент стал расспрашивать его, девяностолетнего старика, о мечтах!), так это о том, чтобы больше не ездить в Венецию... в Рим, в Петербург, в Стамбул... «И куда бы то ни было, сударь. Ибо склонность к путешествиям – порочна!» «После этих слов, – пишет удивленный корреспондент, – он, как бы салютуя, вдруг вскинул к полям цилиндра необычайной длинны указательный палец, украшенный ослепительным солитером, нетерпеливо махнул перчаткой млажавому кучеру, и его легонький фаэтон, запряженный парой рыжих ганноверанов, быстро помчался по Михайловской площади Новочеркасска в сторону почтового тракта...»

О своей ненависти к путешествиям и путешественникам Сальвадор говорил почти во всех интервью, и с особенной пылкостью, с какой-то грозной настойчивостью, – «прямо-таки

с апостольским жаром», замечает Харузин, – в тех, которые он давал летом 1898 года на Всемирном состязании тамбурмажоров в Фонтелло. На этом поистине историческом состязании – самом продолжительном в XIX веке и по числу участников не превзойденном до нынешних дней (2300 тамбурмажоров из 49 государств, включая Заскар, Бутан и Мустанг, оспаривали первенство) – Сальвадор, как известно, последний раз в жизни облачился в расшитый золотой канителью, щедро украшенный искрящимися галунами мундир фельдфебеля музыкальной команды и взял в руки тамбурмажорский жезл. Французские газеты писали потом, что он вращал и подбрасывал его, маршируя в течение десяти часов на плацу с отрядом неумных барабанщиков и ротой неумных гренадеров, уже с нечеловеческой ловкостью – «с обезьяньей ловкостью», как выразился более определенно корреспондент бостонской спиритической газеты «Herald of Truth»: «Я не видел зрелища более восхитительного и ужасающего в своей непостижимости, – писал американец, – чем то, которое явила нам в Фонтелло эта яростная и человеколюбивая горилла в позументах, воздвигнувшая где-то в сарматских степях России сумасшедший дом для военных музыкантов. Полагаю, что именно в этом доме, среди свихнувшихся валторнистов, флейтистов и трубачей, Сальвадор и закончит свои дни, ибо искусство его уже давно достигло тех лучезарных высот, выше которых простирается сфера чистейшего идиотизма!»

Этот велеречивый корреспондент из Бостона был, кажется, единственным из всех газетчиков, кто сумел взять интервью у Сальвадора сразу же после его десятичасового выступления на плацу. Во всяком случае, французские репортеры писали потом в свое оправдание, что нужно было иметь такие плечи, как у «le spirite de Boston»,⁷ и обладать закалкой жителя Нового Света, чтобы, во-первых, протиснуться к Сальвадору сквозь толпу почитателей и частокол из двухметровых гренадеров, а во-вторых, стерпеть неучтивость маломишкинского камердинера – скуластого горца в малиновом казакине с огромными эполетами, сопровождавшего своего прославленного господина в поездках и на предыдущие состязания и позволявшего себе на этот раз производить при виде знакомых ему репортеров уже совершенно оскорбительные телодвижения и звуки. Преодолев на зависть subtilным французам эти «les obstacles fasheux»⁸ и оказавшись рядом с Сальвадором на маленьком островке, омываемом шумной, подвижной толпой, то и дело накатывавшейся ритмичными волнами на широкие спины и крепкие ягодицы невозмутимых гренадеров, американец задал великому тамбурмажору вопрос, с которым корреспонденты «Herald of Truth» обращались в тот год беспрестанно ко всем выдающимся людям, не исключая банкиров и знаменитых лореток: «Do you believe in astral travels of spirit?»⁹ Сальвадор, хорошо владевший английским – «не хуже, чем русским, тибетским и итальянским», утверждает Харузин, – сумел, очевидно, расслышать в разноязычном гомоне только словечко «travels». Но этого-то как раз и было достаточно, чтобы желчный и своенравный старик, каким предстает Сальвадор в сочинениях авторитетных биографов и всевозможных воспоминателей, – в 1910 году даже его необузданный горец, не отличавшийся многословием и страстью к сочинительству, выпустил в Санкт-Петербурге увесистый томик своих беспорядочных воспоминаний, озаглавленных несколько фамильярно для бывшего графского слуги: «Мой бешеный Сальвадор», – чтобы старик, тяжело переживавший всякий выезд из дома, да к тому же еще возбужденный всеобщим к нему вниманием, повергся в то болезненное состояние духа, которое Харузин, повинаясь правилам исследовательской деликатности, назвал «апостольским жаром».

– Что?! Что?! Путешествия?! – закричал Сальвадор по-английски, подняв над головою жезл. – Да будут прокляты путешествующие! И да сгинут они с лица земли! Ибо они внушают

⁷ бостонского спирита (фр.)

⁸ огорчительные препятствия (фр.).

⁹ Верите ли вы в астральные путешествия духа? (англ.).

нам, что мир бесконечно разнообразен! Они, уязвленные жадой странствий, побуждают нас верить в ничтожество духа и невозможность покоя!.. Я проклинаю вас, путешествующие на верблюдах! на слонах! на ослах! на воздушных шарах!..

* * *

Боже мой, сколько лет я не был в Бутане! Сколько воды излилось с гималайских небес на царство Друк-Юла с тех пор, как я покинул его! Впрочем, здесь немного изменилось. Подданные друк-гьялпо – да приумножатся дни его в этом мире! – по-прежнему носят пестрые кхо, перехваченные широкими поясами и отороченные парчой; так же улыбки и приветливы монахи в пурпурных тогах; неразговорчивы и медлительны горделивые воины гьялпо в шелковых длинных халатах, перетянутых накрест шарфами изумительной белизны! Все с тем же неумолкаемым рокотом течет по наклонной долине бурноводная Мачу; как и прежде загадочны и торжественны каменные чхортены по ее берегам; и все так же трепещут на башнях дзонга молитвенные флаги во славу просветленного... О, Бутан, Бутан!..

Мачу еще не вышла из берегов: муссонные дожди только начались. Однако весь королевский двор, множество монахов, тримптон и нерчьен Пунакхи уже переселились в летнюю столицу. Уехал в Тхимпху и король. Очень жаль! Жаль, что его величество друк-гьялпо не соизволил – хотя бы еще на день! – задержаться в Пунакхе. Его присутствие на лекции наверняка привлекло бы в дзонг всю окрестную знать – влиятельных треба, и почтеннейших рамджамов. Накануне я пытался уговорить одного из королевских секретарей, чтобы он убедил монарха посетить лекцию. Но молодой вельможа, отлично говоривший по-русски, был непреклонен. «Мачу через несколько дней превратится в ревущий поток, – сказал он, – а дорогу размоет не сегодня-завтра. Я не могу допустить, милостивый государь, чтобы его величество король-дракон слушал здесь звуки ваших речей до окончания муссона, тогда как у него есть и более важные дела в Благословенной Крепости Веры...» Разумеется, я не стал высказывать королевскому секретарю своего недовольства, тем более что он тут же, без всякого перехода, но и без малейшей принужденности, как это умеют делать только бутанские придворные, чья обаятельность ничуть не уступает чудовищному высокомерию, сменил суровое выражение лица на самую теплую улыбку и вручил мне с почтительным полупоклоном долгожданный кашаг, скрепленный печатью его величества с изображением молнии и двух драконов, в котором говорилось, что мне, «ученому человеку с Запада», дозволяется изложить в дзонге Пунакха, «пока будут шуметь в долинах Друк-Юла большие дожди», свои размышления о любом предмете. На деревенского рамджамы, замещающего на время муссона тримптона зимней столицы, бумага произвела неотразимое впечатление. Старик долго охал и цокал языком, рассматривая ее, а затем объявил мне с чрезмерной торжественностью, что он предоставляет в мое распоряжение самую пышную залу – в южной части крепости. При этом он стал заверять меня, впадая в необычайное воодушевление, что в этой гигантской зале с оранжевыми потолками и целым лесом разноцветных колонн все способствует углубленному размышлению – и огромные статуи Будд, покрытые золотом, и яркие фрески, и тибетские вазы, и воспроизведенный сто восемь тысяч раз на вазах, колоннах и статуях текст священной мантры: «Ом мани падме хум» («Благословенно будь, о ты, сокровище лотоса»). «Я позабочусь, – сказал он, – чтобы ни одна душа не проникла в залу, пока вы там будите размышлять, досточтимый!» Мне стоило немалых усилий объяснить рамджаму, что я вовсе не намерен размышлять в одиночестве и что я вообще не намерен размышлять. В силу того, что в его тщательно выбритой и бугристой, как перезревший гранат, голове безнадежно отсутствовали некоторые понятия, а в моем тибетском – некоторые слова, я никак не мог преодолеть того тягостного и непростительного, хотя и отчасти вынужденного косноязычия, которое с каждой минутой утомляло меня все больше и больше и приводило в замешательство старого рамджамы, уже начинавшего сомневаться в

моей учености. Мне не хватало на первый взгляд пустячка – слова «лекция» по-тибетски. Нет, конечно, латинские «lectio» – чтение и «lectito» – читать часто, усердно, внимательно – вполне поддаются буквальному переводу на сино-тибетские языки, как, впрочем, и «lector» – читатель, чтец. Но тибетского слова, которое обозначало бы *акт публичного выступления на какую-либо тему*, я никак не мог отыскать в своей памяти. В конце концов, уже совершенно отчаявшись, я сказал рамджаму по-тибетски, наперед осознавая всю нелепость и неуклюжесть наугад построенной фразы: «Я буду произносить слова, которые нужно слушать множеством чутких ушей, исполненных пустотою усердия». К моему изумлению, рамджам просиял. «О, да! О, да!» – воскликнул он...

* * *

– Проклинаю и вас, – кричал Сальвадор иступленно, – вас, карабкающихся по горным склонам, подобно выючным животным! И вас, путешествующих на пароходах, в экспрессах и в экипажах! Я говорю вам: противны Единому ваши жалкие устремления к неведомому! И говорю вам: не отыщите вы неведомого во веки веков, куда бы не перемещали вы свои непоседливые задницы и алчные глаза опьяненные зрелищем форм!..

Приступ грозного и темного словоизвержения, писали потом газеты, длился не менее часа. Не менее часа вещал Сальвадор неистово о порочности путешествий. Но этим не ограничился. В течении двух недель, как утверждает парижская «Siecle», он разъезжал по Фонтебло на «Штевере», купленном им еще по пути во Францию (горцу в малиновом казакине до того полюбились самодвижущаяся карета, что он, по его же признанию в мемуарах, жестоко избил на публике графского кучера, когда тот в простоте душевной попытался занять его место за рулевым колесом), и повсюду, собирая толпы зевак и репортеров, поносил путешествия и путешественников.

Те из репортеров, которые знали кое-что об отце Сальвадора, прославившемся в начале XIX века именно благодаря своей страсти к путешествиям и блестящим географическим трудам, искренне удивлялись мрачной ненависти Сальвадора ко всякого рода странствиям – ненависти, доходившей порою, как это было в Фонтебло, до пароксизмов безумия. Впрочем, некоторые журналисты, более осведомленные или менее поверхностные в суждениях, высказывали предположение, что Сальвадор на самом деле ненавидел вовсе не путешествия, а как раз-таки своего родителя, Антонио Умберто Романо, «ученого венецианца», как пишет о нем Харузин, военного инженера, «члена многих академий», состоявшего восемь лет в русской службе – сначала в свите императора Павла Петровича, а затем – Александра Павловича. Последний произвел его в чин подполковника Генерального штаба незадолго до того, как Антонио (накануне Аустерлица) неожиданно исчез, чтобы затем объявиться как ни в чем не бывало в штабе Наполеона. Харузин со свойственной ему прямою и пылкой верой в непогрешимость выдающихся личностей решительно отвергает «досужие домыслы казенных борзописцев» (имеются в виду статьи в австрийской прессе и небольшая заметка в «Санкт-Петербургских ведомостях») о том, что отец Сальвадора захватил с собою при этом кое-какие штабные бумаги, кое-какие чертежи, а главное, составленные им же оригинальные проекты полевых и долговременных фортификаций русской армии.

По заверению Харузина, основанному не столько на фактах, сколько на его собственном запальчивом благонравии, Антонио перешел к Наполеону «с пустыми руками» и исключительно потому, что «служба французской короне давала в то время больше возможности путешествовать – не только по странам Христианского мира, но и по отдаленным и отрезанным от европейской цивилизации, не посвященным в новейшие достижения наук, хотя и озаренным в достатке светом учения царевича Гаутамы, гималайским государствам», куда Антонио, присягнув на верность Бонапарту, тотчас же и отправился в качестве секретного агента фран-

цузской империи с целью исследовать подробно высокогорные княжества Заскар и Мустанг и по возможности проникнуть в королевство Бутан.

В Бутане Антонио неожиданно попался, хотя и продумал он, как ему представлялось, все до мелочей. Выдавая себя за паломника, он прятал в посохе термометр (по ночам, заправив костер, поднимавшийся ровным, почти неподвижным столбом к гималайским, белесым от звезд небесам, «ученый венецианец» опускал прибор в кипяток, определяя таким способом высоту над уровнем моря караванных дорог и пограничных перевалов), в молитвенной мельнице хранил записные книжки, в ритуальных сосудах чернила и перья, а под просторной тибетской чубой – чертежную готовальню и штукер. Разоблачил агента один наблюдательный странник, сосчитавший приметливым глазом количество костяшек на молитвенных четках Антонио. Их было сто вместо ста восьми. О том, что это число священно в буддийском мире, Антонио, вероятно, не подозревал, как не подозревал он и того, что странник, перед которым он начал было ломать комедию, изображая внезапный приступ удушья и надеясь в удобный момент (дело происходило в заброшенном горном бунгало близ бутанско-сиккимской границы) исправить свою оплошность при помощи штукера, был кавалером ордена Подвязки, офицером английской Ост-Индской компании, выполнявшим, в свою очередь, секретные поручения короля Георга, который не меньше, а может быть, даже и больше, чем Наполеон, желал иметь подробные карты маленьких и непростительно беззаботных монархий, счастливо затерявшихся в солнечном поднебесье среди гималайских вершин.

Между двумя агентами после короткого единоборства, в котором верх одержал англичанин, – из-под непальских одежд бритоголового странника, обвешанного амулетами, вдруг выглянул к изумлению Антонио, чей устаревший за время странствий дульнозарядный штукер мгновенно был выбит из рук точным ударом ноги, граненый ствол револьвера Коллера, – произошел, по-видимому, довольно бурный и откровенный разговор. Состоялась, вероятно, в горном бунгало и дружеская, если не сказать государственная, сделка. Иначе как объяснить тот факт, что обширные сведения о маленьких, прозябавших в блаженной беспечности королевствах Антонио доставил, минуя штаб Наполеона, прямо в Лондон – одному из тайных королевских комиссаров по делам Индии, который, между прочим, отрекомендовал венецианца на аудиенции у Георга III как человека мужественного, ученого и вместе с тем преданного всем сердцем интересам британской короны.

Произведенный в скором времени в чин инженер-полковника королевских войск, Антонио вновь отправился путешествовать, на сей раз по диковинным, разнообразно цветущим, исполненным всяческих колдунов и идолов землям, коими Англия уже владела и коими только намеревалась завладеть при помощи дерзкого флота, бывалых карабинеров, вкрадчивых дипломатов и неутомимых агентов. Где только не побывал Антонио Умберто Романо! И в тропиках Южной Америки, и в Новой Зеландии, и в Австралии, и на бесчисленных островах трех океанов, и, конечно же, в Африке.

Но вернемся, дамы и господа, к России.

Российская корона, как и французская с английской, поощряла по мере сил своих склонность Антонио к перемене мест. «За восемь лет безупречной службы нашему Отечеству, – пишет Харузин, – отец Сальвадора и двух месяцев к ряду не прожил в Петербурге. Подвергая себя опасностям, часто рискуя жизнью, он много и яростно путешествовал – по европейской Турции, Греции, Албании, Далмации, Истрии, Польше, Германии, особенно же – по России, в которой проехал 30.000 верст, исполняя различные поручения русского правительства».

И вот благодаря одному из таких поручений (чтобы его измыслить для неутомимого венецианца, юному самодержцу Александру пришлось долго в унылый послеобеденный час водить по меркаторской карте империи увесистой лупой на длинной самшитовой ручке, вздувая ею то устье Днепра, то зачем-то заливы Карского моря и даже – совсем уж без мысли, а только ради забавы – острые зубчики фьордов пустынной Новой Земли) Антонио оказался на

юге России, в Малом Мишкино, на даче атамана Матвея Платова, где и был зачат летом 1803 года – «в гувернантской комнатке с круглым окошком», уточняет Харузин, – снискавший всемирную славу российскому тамбурмажорскому искусству Сальвадор Романо.

Отправился же Антонио на юг России с целью «защитить, – как говорилось в рескрипте на имя Платова, – путем инженерных работ, как то: наведение каналов, возведение дамб, устройство гидравлических систем и проч., столицу Области войска Донского Черкасск от весенних и летних разлитий Дона, кои затопляют ежегодно сей воздвигнутый невежественными пращурами на пологом острове город по окна, а в иные лета и по самые крыши домов, похищая тем самым множество жизней любезных Нашему сердцу казаков». Поручение это, надо сказать, было не то чтобы совершенно бессмысленным – оно было до крайности лукавым, ибо накануне Александр одобрил проект переноса казачьей столицы на новое место, представленный атаманом Платовым, который, как пишет один малоросский историк, «страх як мріяв стати фундатором нового граду, та ще такого, котрий затьмарив би аж Санкт-Петербург пишністю будівель та чудовною геометрі(ю вулиць)». ¹⁰ Так или иначе, Антонио, приехавший в Черкасск осенью 1802 года и ничего не знавший ни о проекте Платова, ни о страстных его мечтах, рьяно взялся за дело. Платов наблюдал за ним с насмешливым любопытством. Ожидая со дня на день высочайшего указа о возведении на самом величественном холме южнорусских степей, в пяти верстах от Малого Мишкино, Нового Черкасска, атаман, разумеется, не оказывал венецианцу ни малейшего содействия, но и не мешал ему выполнять поручение Государя. И только уже в начале лета, когда Антонио, затратив огромные усилия, произвел-таки наконец все подготовительные работы, то есть объездил в распутицу и непогоду донские озера и гирла, назначил места для строительства дамб и плотин и умело разметил пути каналов, усеяв весь город колышками, Платов вызвал его в атаманский дворец и в торжественной обстановке, восседая с насекою и перначом под войсковыми знаменами среди разодетых в парчу и бархат старшин (оба, и розовощекий безусый император, и благородно седеющий усатый атаман, конечно, созорничали, когда за ужином в Петергофе задумали смеха ради этот явно неделикатный и несколько театральный финал), объявил, что 100.000 рублей серебром, отпущенных казною на инженерные работы, издержаны без остатку третьего дня в Азове, на покупку племенных жеребцов для станичных конезаводов, без процветания коих, сказал атаман сурово, немыслимы мощь и проворство Войска Донского. Выслушав это, Антонио, человек по природе своей необидчивый и умеющий применяться к любым обстоятельствам, неожиданно для себя вспылал. Не думая о последствиях, он надерзил атаману; в сердцах даже выдернул из петлицы свою инженерскую шпажку и, разумеется, тут же был взят под стражу – но отправлен, к своему изумлению, не в тюремный подвал Воскресенского собора, где сиживал Стенька, а в Малое Мишкино, на атаманскую дачу, под домашний арест – до особых распоряжений из Петербурга.

Тут-то, на даче, Антонио и познакомился с будущей матерью Сальвадора, гувернанткой дочери атамана Платова француженкой Эрнестиной Бессан... бесовкой... Эрнестинкой Бессан-бесовкой называл ее в шутку Платов, поглядывая не без волнения на ее свежие щечки в мелких, табачного цвета веснушках, рыжие кудри и гибкую спинку... Да, господа бутанцы! мать российского тамбурмажора была женщиной необычайно обворожительной и – что бы там ни писал о ней благонравный Харузин, что бы он там ни мямлил в смущении о «маленьких шалостях» Эрнестинки, прибегая на каждом шагу то к застенчивому многоточию, то к жеманному эвфемизму, – эксцентричной и сладострастной!..

¹⁰ страстно мечтал стать основателем нового города, да притом такого, который затмил бы аж Санкт-Петербург пышностью зданий и блистательной геометрией улиц (укр.).

* * *

Бутанцы – удивительно деликатный народ! До чего же внимательно, с каким почтительным выражением лиц они слушают лекцию! Всякий, кто хотя бы однажды поднимался на кафедру (здесь, конечно, кафедры нет: я, как и все бутанцы, сижу на циновке и лишь иногда встаю и прохаживаюсь, заложив руки за спину, между двумя колоннами, одна голубая, другая зеленая), поймет мое восхищение этой аудиторией, ибо знает, сколь важна и желанна для лектора атмосфера благожелательности. Благожелательность же бутанцев – безгранична! Они даже не потребовали от меня, – хотя и имели на то все основания, – чтобы я читал на тибетском или на местном дзонг-кхе – «языке крепостей». Признаться, это было бы для меня весьма затруднительно. Гораздо труднее, нежели втолковать старику рамджаму, в чем состоит то существенное различие между лекцией и медитацией, которого он, кажется, так и не уловил, ибо вот он теперь сидит в укромном местечке за широкой пилястрой и беспрестанно вращает молитвенную мельницу, погруженный в свои раздумья... Зала, конечно, создана для медитации. Что и говорить! Все в ней дышит торжественным покоем. И хотя здесь ходит свободно всяческая живность – вдруг прошагает, высоко поднимая лапы и что-то старательно высматривая по сторонам, невозмутимый фазан или пробежит, нагнувшись, догоняя мелкую ящерицу, курица, – величавый покой Благодетельной Палаты Раздумий (так называется в переводе с тибетского эта зала) ничуть не нарушается.

Рамджам, вероятно, собрал здесь всех, кто остался в дзонге на время муссона. Даже воины гьялпо сообразовали явиться на лекцию, хотя они и большие гордецы; многие из них хорошо образованы – иные читают в оригинале не только английских поэтов, но и немецких мистиков: я видел у одного офицера томик сочинений Майстера Экхарта, изданный в Мюнхене. Однако по-русски они не знают ни единого слова. Увы, ни единого, как и все в этой славной аудитории. Впрочем, вон тот монашек, вполне сумасшедший с виду, со сморщенным светло-коричневым личиком и неким подобием бакенбардов – пучочки жестких волосьев мышиного цвета топорщатся странным образом из-под самых мочек ушей, – знает, Бог весть откуда, одно русское слово: «барабан».

Перед самым началом лекции рамджам зачем-то подвел ко мне этого неопрятного, отвратительно кривляющегося (кажется, в силу нервного расстройства, именуемого в Европе «пляской святого Витта») монашка и, указав на меня кивком головы, стал ему объяснять, что я из огромной страны – рамджам сказал «с необъятного острова в Белом океане к северу от Лхасы» – и что я-де умею говорить на диковинном языке, одни звуки которого способствуют размышлению. Тут-то монашек и выговорил старательно, удивив и меня, и рамджаму:

– Ба-ра-бан!

Напрасно я пытался выяснить у него, знает ли он еще какие-нибудь слова по-русски. Монашек только улыбался в ответ да высовывал язык в знак приветствия и дружеского расположения. Единственное, что мне удалось от него добиться, так это то, что он произнес с таким же старанием слово «барабан» на тибетском:

– Шнабук! – сказал он. И тут же удалился, очень довольный нашей беседой.

Однако на этом наше общение с ним не закончилось. Теперь, на лекции, он то подмигивает мне, то, как бы подбадривая меня, одобрительно кивает, возбужденно жестикулирует и вообще ведет себя так, будто он хорошо понимает «диковинный язык» «необъятного острова в Белом океане». А когда мне случилось по ходу изложения произнести слово «барабанщики» в родительном падеже (я сказал «...с отрядом неумных барабанщиков и ротой неугомонных гренадеров...»), монашек и совсем уж раздухарился. Он вскочил с места и, безобразно извиваясь всем своим непослушным телом, размахивая посохом, закричал по-тибетски:

– Ох апа! Ох апа! (Совершенно верно, совершенно верно!) Барабанщиков... ох апа!

Эта выходка, обратившая на себя внимание всей аудитории, несколько озадачила меня, и я, признаться, решил больше не употреблять ни слова «барабан», ни его производных, несмотря на то, что мне просто необходимо рассказать кое-что о детстве Сальвадора, рассказать о том чудном, калмыцкой работы, с малиновым корпусом и медными ободочками военном барабане (я воспользуюсь французским словом «тамбур»!), который был подарен маленькому Сальвадору – явно по промыслу Божьему! – атаманом Матвеем Платовым...

* * *

Это случилось, дамы и господа, уже после того, как француженка Эрнестина Бессан, легко соблазнившая в то пыльное, ветреное лето 1803 года штабного инженера Антонио Романо, скучавшего восемь недель под арестом на платовской даче (а потом уж, в иные лета и весны, когда инженер колесил по свету, позабыв о присяге на верность царю и о маленьком сыне на юге России, – и уланского обер-офицера, дальнего родственника атамана, гостившего в Малом Мишкино, и войскового казначея, и даже одного генерал-губернатора), скончалась во временном женском госпитале бурно строящегося Нового Черкаска, – нет, не от скоротечной чахотки, как пишет Харузин, дошедший в пылу застенчивости до грубого передергивания, а от потери крови. Атаманский денщик, давно домогавшийся ласк молодой мамыши – Эрнестине было тогда двадцать восемь, а Сальвадору – шесть, – рассек ей албанской саблей бедро, о котором он грезил в минуты мрачного возбуждения и которое она обнажила напоказ для его торопливого и постыдного облегчения за десять рублей в каретном сарае.

Мальчика взяла на воспитание дочь атамана Платова Анна Матвеевна (в замужестве Харитоновна). «Мне было так жаль, – вспоминает она, – этого маленького, несчастного иностранчика, никогда не видевшего своего родителя и потерявшего мать по вине отцовского денщика Якима, что я готова была подать прошение об его усыновлении Государю Александру, на что получила – хоть и с большим трудом – согласие моего мужа Константина Ивановича. Однако папенька мой не позволил мне этого сделать. Во-первых, говорил он, Государь никогда не простит отца Сальвадора, подло сбежавшего к Бонапарту, а во-вторых, и я не могу допустить, чтобы сын перебежчика носил фамилию моего зятя». Платов, по свидетельству дочери, ненавидел инженера Антонио лютой ненавистью: встретив его в 1814 году в Лондоне в свите принца-регента Уэльского, он до того был взволнован и удивлен, что не мог сдержать своих чувств, схватил его за обшлаг – на Антонио был уже не полковничий, а генеральский мундир, украшенный Большим крестом ордена Бани – и процедил сквозь зубы:

– Так ты и от Наполеона сбежал, прохвост, сучий выродок!..

– Да, ваше сиятельство, – ответил Антонио равнодушно. – А вы, я слышал, город воздвигнули и... сына моего приютили... как бишь его?.. Сальвадор?.. Очень признателен.

Больше они никогда не виделись: Платов, которого целый месяц чествовали в Лондоне, воздавая ему за героизм в войне с Бонапартом, отплыл под салюты и фейерверки из Дувра на русском фрегате, а Антонио спустя два года, выйдя из того же порта на английской шхуне с секретным поручением принца-регента, утонул в Бискайском заливе.

Однако к сыну перебежчика атаман относился со сдержанной, но все же заметной для всех теплотою – то ли потому, что он чувствовал вину перед ним за гибель его матери – недосмотрел за развратным Якимом, вовремя не высек сластолюбивого денщика, – то ли потому, что ему пришлось по сердцу гордый, вспыльчивый нрав маленького Сальвадора: как-то раз, когда атаман сгоряча хлестнул его батогами за какую-то шалость, Сальвадор побледнел, затрясся от боли, но не обронил ни единого звука, едва сдержав слезы, а на следующий день поджег атаманскую конюшню.

Вскоре после этого случая, который Анна Матвеевна описывает в своих мемуарах довольно подробно и живо, Сальвадор заболел воспалением легких. Оно было вызвано не

столько простудой, сколько нервным потрясением во время пожара: запалив конюшню, Сальвадор сам остался в ней, и, вероятно, сгорел бы заживо, если бы его не вынес из огня растопленный платовский кучер, ставший впоследствии управляющим южнорусским имением Сальвадора. «Болезнь была жесточайшей, – вспоминает Анна Матвеевна, – Сальвадор ничего не ел, никого не узнавал в бреду, и надежд на его выздоровление было мало, хотя папенька и посылал беспрестанно за лучшими докторами то в Новый, то в Старый Черкасск, то в Ростов...»

Анна Матвеевна не сообщает, а потому и я не могу вам сказать, дамы и господа, как и почему доблестному атаману Матвею Платову пришлось в голову подарить семилетнему Сальвадору Романо, умиравшему от воспаления легких на постели своей ветреной матери в жарко натопленной гувернантской комнатке с единственным круглым окошком, смотревшим на аксайское займище, военный тамбур, да притом еще подарить в тот день, когда доктор Альберт Тизенгаузен, приехавший из Новочеркасска с целой свитой озабоченных ассистентов, объявил, осмотрев Сальвадора, что мальчик отдаст Богу душу не сегодня-завтра, но я берусь утверждать, и утверждать наверняка, что этот нехитрый подарок не только спас Сальвадору жизнь, но и определил всю его дальнейшую судьбу.

Вот что говорил на этот счет сам Сальвадор, уже будучи старцем, корреспонденту мадрасской браминской газеты «New Reformer», посетившему его в Малом Мишкино за несколько недель до его кончины (интервью это, между прочим, свидетельствует, что Сальвадор находился в совершенно здравом уме и ясной памяти, хотя и лежал привязанный к койке ремнями – по его же собственной настоятельной просьбе – в отдельной палате маломишкинского сумасшедшего дома):

«Сальвадор. Чьи-то огромные лица склонялись надо мною, выступали из мрака тусклыми пятнами и снова исчезали. В комнатке было душно, меня тошнило. Все предметы казались мне чрезвычайно увеличенными и подвижными. Стоило мне взглянуть на какую-нибудь вазу, и она мгновенно разрасталась, надвигалась на меня вместе с консольным столиком... Ослабьте немножко ремень, сударь... да-да, вот здесь, рука затекла... Все формы в мире, видите ли, случайны, непрочны и в общем-то смехотворны, их балаганное разнообразие просто нелепо, если узреть Единое...

Корреспондент. О да, несомненно!

Сальвадор. Но я привязался к этим формам... Степь хороша! И донские разливы, сударь, чудесны!.. Я не хочу изменений, движений, утрат, обновлений. Это болезненные процессы бытия – блажен, кто их избегает усердно, и поэтому я...

Корреспондент. Простите великодушно, дорогой Сальвадор, вы кажется, хотели рассказать о тамбуре?

Сальвадор. Да-да, тамбур!.. Тамбур – это тоже случайная форма, обретенная звуком. Единое породило звуки. Из звуков возникли, нет не возникли, а вспыхнули, расцвели, точно салюты в ночных небесах, литавры, валторны, тамбуры, тамбурмажорские жезлы и флейты!.. Надеюсь, вы меня понимаете, сударь?

Корреспондент. О да, я слушаю вас.

Сальвадор. А тот незабвенный тамбур... Я помню, мне показалось сначала, что он возник сам собою в сумрачном воздухе, где-то у печки. Однако потом я заметил фигуру атамана. Он был в распахнутом кителе, нижняя рубашка мерцала на нем бело-лунным светом. Он стоял неподвижно и держал на ладони тамбур, и эдак, знаете ли, грозно улыбался, как он улыбался всегда: одними глазами и левой бровью... вот так... Потом он приблизился ко мне на цыпочках; осторожно, будто картонку с дамской шляпкой или тортом, поставил тамбур на тумбу у моего изголовья и так же, на цыпочках, удалился, поскрипывая сапогами... А спустя некоторое время я услышал голос: «Смотри, Сальвадор! Вот предмет, порожденный самыми гордыми, самыми бодрыми звуками во Вселенной! Это подарок тебе. Мой подарок!» Я приподнял голову – в комнате не было ни души. Тамбур стоял среди склянок с лекарствами – я протянул к нему

руку, и он вдруг качнулся, поплыл на меня, и, прежде чем он заполнил собою всю комнату, я кое-что успел разглядеть в его начищенных медных ободочках...

Корреспондент. Вы хотите сказать, драгоценный Сальвадор, что вам открылось тогда ваше предназначение?

Сальвадор. Нет, тамбурмажорский жезл не явился мне тогда в моем минутном видении. Я увидел чудесным образом только то, чем он потом одарял меня, – меня, безродного иностранца, сударь! Я увидел ордена Святой Анны всех степеней, золотые империялы, эполеты лейб-музыканта Его Величества... Я выздоровел очень скоро, потому что мне захотелось шагать, шагать! и ударять в тамбур упругими палочками – тум-туру-рум! Тум-туру-рум!»

Это интервью, перепечатанное после смерти Сальвадора многими русскими и некоторыми европейскими газетами, было последним в его жизни и, пожалуй, самым душевным... Впрочем, дамы и господа, достопочтенные бутанцы, я обязан сказать вам, что и это предсмертное интервью, «проникнутое», как заметил мечтательный «Крымский курьер» госпожи Лупандиной, «светлой грустью воспоминаний и предчувствием близкой кончины», не обошлось без выпренных инвектив – я имею в виду то желчное, грозно-витиеватое, наполненное безумной злобой и, конечно, не соотносящееся ни с одним из вопросов мадрасского корреспондента, благоразумно уклонявшегося от болезненной для Сальвадора темы, высказывание о Миклухо-Маклае (совершенно фантастическом злодее, в представлении Сальвадора, встречавшегося с ним, оказывается, в 1886 году в Одессе), которое было изъято из деликатности не только степенными «Русскими ведомостями» и осмотрительным «Русским словом», но даже куражливым и беспечным, не лишенным вкуса к скандалам «Московским листком» Пастухова и от цитирования которого я тоже позволю себе воздержаться, чтобы не оскорблять здесь память знаменитого путешественника...

* * *

Монашек, кажется, успокоился. Он даже как будто бы задремал. Однако сухонькая и тусклая рука его, уже просвечивающая от немощи, точно горящая свеча или тонкий фарфор, бодрствует – не забывает перебирать четки. Отполированные костяшки – каждая в свой черед – проходят через подвижные пальцы, и каждая как бы рождается на мгновение для безотчетного осязания, – рождается и снова умирает – уходит в область неосязаемости, но не выходит из круга... снова рождается... «Я прошел через сансару многих рождений и скажу тебе, о Ананда, рождение вновь и вновь – горестно!», потому что рожденных ждет смерть, а умерших – рождение. И так бесконечно и безначально и без исхода из круга...

Об этом ли думает теперь монашек, перебирая четки? Ему положено думать об этом. Даже во сне. Но я подозреваю, что он все же не спит. И я подозреваю также, что он знает по-русски не только слово «барабан»... Ба-ра-бан... Барабанщиков... Ох апа... О, комедиант! Он слушает, он внимательно слушает – понимает все до единого слова!.. и ждет, затаившись, веселой и разухабистой минуты скандала. И если он оттягивает ее, лукавый прозорливец, то вовсе не из жалости ко мне, а для собственного удовольствия... Наблюдает за мной, как бывалый крупье за неопытным шулером... Наблюдает с торжествующим и злорадным наслаждением, ибо давно уже догадался – не мог не догадаться, – что я боюсь позорного разоблачения. Боюсь, что вот сейчас, сию минуту, он встряхнет костяными четками, поднимется и решительно воскликнет – и не по-русски, нет, не по-русски, а на тибетском или дзонг-кхе, чтоб понимали все:

– Вы лжете, господин лектор! Вы бессовестно и извортливо лжете!! Ни о каком Миклухо-Маклае не было речи и в помине в этом, как вы выразились, «предсмертном интервью»!.. Но было в нем сказано то, чего вы, ничтожный ученый червь, не решились сказать даже в бытность свою Гаутамай излюбленному ученику – Ананде!..

И тут он, быть может, извлечет из-под тоги номер мадрасской браминской газеты «New Reformer» от 25 августа 1901 года и, кое-как нацепив на нос непослушной рукою очки с отломанными оглобелями, процитирует те безумные высказывания Сальвадора, напечатать которые не сочли для себя возможным ни «Русские ведомости», ни «Крымский курьер» Лупандиной, ни даже «Московский листок» Пастухова:

«Сальвадор. Вы спрашиваете о Едином, сударь... Я вам скажу: Единое вовсе не безгранично, как учат у вас там, в Индии. Его едва хватило на весь этот пестрый балаган воплощений. И поэтому, сударь, все зримые формы исчислимы и ограничены... Да-да! Мир так устроен, что в силу самого факта его существования при ограниченности Единого и полной завершенности Истории Воплощения мы уже были и будем бесчисленное количество раз всем и вся, что однажды породило Единое в случайном порыве – барабанами, Цезарем, флейтами, звездами. И не думайте, сударь, что форм, порожденных Единым, так уж и много! Увы, это извечная и обольстительная иллюзия. Даже если бы в этом мире существовало время, нам бы его хватило, чтоб пройти миллиарды раз Полный Круг Воплощений. Но времени нет места в замкнутом круге. Часовые механизмы Единое породило лишь в угоду нашей трогательной фантазии. Движение же частиц Единого сквозь зримые формы не измеряется ни минутами, ни столетиями, оно происходит, и это все, что можно о нем сказать. И я бы сказал еще вот что: движение это таково, что мне уже примелькались иные формы, и таково, что я уже успел приглядеться к иным воплощениям. Я не раз был вами, как, впрочем, и вы – мною, и осмелюсь доложить вам, что вы мне совершенно не нравитесь. Но пусть вас это не оскорбляет: если бы это было возможно, я хотел бы избежать не только вашей безалаберной, суетной и, в общем-то, неприметной жизни, но и жизни Христа, апостола Иоанна, Будды, Ананды и той благочестивой жизни, которая ждет меня теперь, – жизни больного монашка, одержимого «пляской святого Витта», в королевстве Бутан, и следующей, увы, несчастной жизни – одного безумного литавриста, вообразившего себя – ну кем бы вы думали! – профессором истории тамбурмажорского искусства... да-да, я не шучу, вы даже можете его увидеть, если хотите, прямо сейчас: он здесь, в сумасшедшем доме, на втором этаже – читает уже лет пять подряд со все возрастающим возбуждением нескончаемую и фантастическую лекцию обо мне... Словом, сударь, я должен признаться, что мне опостытели эти бесконечные путешествия – из формы в форму, из жизни в жизнь. И если уж мы не можем выйти из круга смертей и рождений, то я хотел бы по крайней мере являться в этот мир кем-нибудь одним...

Корреспондент. Но кем?

Сальвадор. Я понимаю ваше любопытство. Но не скажу вам ничего нового, ничего сверх того, что говорил вам всегда при этом стечении обстоятельств и в этой точке мироздания: я привязался к *настоящему* воплощению, и всякий раз, когда я рождаюсь российским тамбурмажором Сальвадором Антоновичем Романо, я думаю, что всегда хотел бы родиться именно Сальвадором Антоновичем Романо, ну или, быть может, Барабанщиковым... Барабанщиков! – такую фамилию придумал мне граф Платов в одной из своих бесчисленных жизней после того чудесного исцеления, о котором я, кажется, уже вам рассказывал... Да... так вот, сударь, мне всегда грустно расставаться с Сальвадором Антоновичем, и я хотел бы оставаться им навеки. Но дело в том, что мне так же грустно бывает расставаться и с вашей никчемной жизнью, и будучи вами, я часто думаю, что хотел бы всегда рождаться мадрасским журналистом. И даже к жизни безумного литавриста Игната Ставровского я иногда привязываюсь и с удовольствием читаю его идиотскую лекцию, искренне сокрушаясь, что ее не почтил присутствием бутанский король...

А потом монашек скажет все то, что известно ему и всякому, уже побывавшему в своей черед великим тамбурмажором.

– Никогда, – скажет он, – Сальвадор Антонович не поносил земных путешественников и не испытывал ненависти к земным путешествиям! И вы, господин лектор, хорошо знаете

об этом, потому что сами были множество раз великим тамбурмажором. А теперь, когда вам, затерянной частичке Единого, удалось обрести покой, когда исполнилась ваша мечта, то есть мечта Сальвадора! и вы овладели счастливой способностью рождаться всегда только одним человеком – профессором истории тамбурмажорского искусства, вы готовы оклеветать Сальвадора, вы готовы свести всю драму его жизни к пошлейшему психологическому этюду, для чего и выдумали бесовестно, что он будто бы ненавидел *всякого* рода путешествия и *всякого* рода путешественников и что якобы батюшка его, почтенный инженер и домосед, благородно погибший при строительстве дамбы в Черкасске, был путешественником и шпионом!.. А потом вы нам скажете с ученой многозначительностью – я знаю наперед, что вы скажете: «Дамы и господа! Достопочтенные бутанцы! К сожалению, я не могу ответить сколь-нибудь однозначно на главный вопрос нашей лекции – почему великий тамбурмажор ненавидел путешествия? Однако считаю, что из всех предположений на этот счет наиболее обоснованным и правдоподобным остается предположение, что эта ненависть была вызвана враждебным отношением к отцу, который в угоду своей неумной страсти к перемене мест ступил на путь вероломства...» О, как просто у вас все сходится и объясняется, господин ничтожнейший лектор!! – воскликнет монашек...

Но он молчит, выжидает, перебирает четки. И, быть может, дает мне возможность исправить мое положение – повернуть лекцию иначе. И я поверну. Непременно поверну, дамы и господа! У меня есть еще время. Муссонные дожди в Бутане только начались!..

Тайны жалонёрского искусства, или Разоблачение д-ра Казина

1

Ах, разве мог я не ликовать, когда он наконец-таки оказался у меня в руках, последний адрес этого утонченного и изворотливого мошенника! С некоторых пор, с тех пор, как ему перевалило за сто (каким поразительным, прямо-таки библейским долголетием отметил Бог шельму!), он разлюбил шумные города. Он без сожаления покинул Нью-Йорк, где «расцвели и окрепли», как он фанфаронски выразился в своей напыщенной автобиографии, его «неистощимые научные способности», где он впервые «вкусил известности» и откуда успел улизнуть еще до того, как я решился снести с ним по почте.

Некоторое время он скрытно жил в Аллентауне, не сообщая точный адрес даже своей «горячо любимой и трепетной Дашеньке» – безобразно горбатой девятистолетней сестре, смиренно коротающей свой тусклый, неприметный век здесь, в Новочеркасске, в непроходимо заросшем кустами дикого абрикоса и желтой акации Криничном переулке.

Из Аллентауна, неуклонно продвигаясь на запад (быть может, по какому-то заранее обдуманному плану), он перебрался в Кливленд. Затем – казалось, уже окончательно, до гробовой доски, – обосновался в Толидо, на Вест Банкрофт-стрит. Но нет, нет! Из Толидо, с берегов Великих озер, мое письмецо – как перелетная утка, побывавшая в безмерно далеких от хладных болот отчизны краях и там окольцованная чужестранными орнитологами, – прилетело на родину, на «милую, незабвенную родину» д-ра Казина, говоря языком его пошлейшей автобиографии, и, недолго разыскивая в Новочеркасске частновладельческий дом на Кадетской, приземлилось на мой захламленный письменный стол, шеголяя ярким глянцевым ярлычком, которым оно разжилось где-то на чинном столе заморского почтмейстера. Ярлычок учтиво извещал, что моя горемычная корреспонденция, увы, – «undelivered»,¹¹ а посему – «return to

¹¹ Не доставленна (англ.).

sender»,¹² и что о названных досадных обстоятельствах я не должен думать как о возникших по нерадивости или же вздорной прихоти вселюбезной почтовой службы, у которой на случай подобных, весьма оскорбительных подозрений имеется исчерпывающий набор решительно от нее не зависящих, затаенно возможных причин недоставки. Из их перечня – Боже мой! – из их подлого перечня, кем-то любовно упорядоченного, подчиненного эдакой торжественной градации, на предназначенном для меня ярлычке была помечена – так сказать, представлена на мое рассмотрение, – последняя, восьмая, самая нелепая, самая смехотворная и самая комедийная причина, по которой д-р Казин не имел возможности получить мое письмо. Она была изложена с помпезной лапидарностью: «Скончался». И она, разумеется, была рассчитана на то, чтобы сразить наповал своей неустрашимостью простодушного адресанта – одного терпеливого и бесконечно малопривлекательного для д-ра Казина адресанта из южнорусской провинции, которого он, должно быть, куражась в компании преданных ассистентов, не раз называл землячком-простачком...

О нет, к тому времени я уже слишком хорошо был осведомлен о способностях и манерах Станислава Модестовича, чтобы спутать разыгранный им разухабистый фарс – «Скончался», ха-ха! – с одноименной высокой трагедией. И хотя ярлычок признаю, этот щеголеватый заезжий господинчик, который передо мною столь галантно витийствовал, произвел на меня поначалу, как обходительный, ловкий понтер на незадачливого банкомета, завораживающее впечатление, я очень скоро, вероятно, гораздо быстрее, чем это возможно, когда в безупречном облике прелестника нет ни малейшей подсказки (поддельного ордена в петлице, сомнительной седины в бровях, фальшивого изумруда в аляповатой оправе, стеклянно поблескивающего на мизинце, не говоря уж о плохо приклеенных – хрестоматийных – льняных усах), догадался, что он отъявленный шулер и что небитая карта – «Deceased»,¹³ – предъявленная мне картинным, победоносным жестом, отчаянно выдернута из-под манжетки.

Во всяком случае, я понял это еще до того, как с озера Эри возвратилось отправленное мною вторично по тому же адресу и уже хорошо освоившее дальние перелеты мое настойчивое письмо. Глянцевый представитель почты, новоопределенный в должность «обратного штемпеля», как ни в чем не бывало, как будто он и не ведал, какими фокусами здесь забавлялся его жуликоватый предшественник, невозмутимо сообщил мне, что д-р Казин «Gone away»,¹⁴ – что он, понимаете ли, некоторым образом «Disappeared from view»¹⁵ – «Фьють», как говорят в таких случаях в отечестве мистера отправителя, – словом, дьявольски ловкий д-р, обратившись внезапно в тонкое вещество, подобное «веселящему газу», «Evaporated into thin air»...¹⁶

Да, для меня он действительно – по крайней мере, на год – исчез.

Полгода мне потребовалось, чтобы выяснить, что д-р Казин, придерживаясь все того же – западного – направления, укатил из Толидо куда-то еще дальше, куда-то в глубь континента: за Великие озера, за Миссисипи. И только еще через полгода, ценою огромных усилий, ценою нелепейших объяснений с горбатой Дашенькой, – выжившая из ума старуха всецело пребывает в том призрачном, феерическом мире, где ее драгоценный братец блистательно молод, где он – лукавый гостиничный виртуоз «Пирамидки» и «Карамболя» – ежедневно меняет бороды, парики, портсигары, тросточки, отправляясь с вечерней конкой в «Европейскую» или в «Донскую» порезвиться на бильярде, где его беспрестанно разыскивают обмисшурившиеся партнеры, доверчиво принявшие притворщика-аса за неумелого новичка, и где, по всей видимости, ему угрожает расправой один проигравшийся до копейки акцизный чиновник, о котором

¹² Возвращается отправителю (англ.).

¹³ Скончался (англ.).

¹⁴ Выбыл (англ.).

¹⁵ Скрылся из виду (англ.).

¹⁶ Улетучился (англ.).

несчастливая Дашенька говорила с тревожным негодованием, то и дело поглядывая на меня, – ценою постыдных ухищрений (пришлось изображать из себя бильярдного шулера – верного компаньона Станислава Модестовича, чтобы вынудить Дашеньку поискать в заветной шкапулке – «Стало быть, надобно, милая! Для важного дела!» – его последние письма) мне удалось узнать, что почетный член четырех академий, вечный житель нетленных энциклопедий, облюбовав для профессорства какой-то забытый Создателем Лютер Колледж, поселился в идиллическом захолустье, в назойливо живописном – судя по присланным Дашеньке снимкам, – аккуратно прилепившемся к пологим холмам городке, чье название, как и все, что связано с д-ром Казиным, дает несомненный привкус театральности и карнавальности – Декора... 21 °Скай Лайн, Декора, штат Айова...

Там-то его и настигло нижеследующее послание.

2

«Станислав Модестович!

Затеянный вами в Толидо комедийный спектакль вполне убедил меня в том, что с годами – да еще с какими годами, о новоявленный Мафусаил! – вы не утратили способность к трюкачеству. Однако и я, надеюсь, сумел вам напомнить своей проницательностью тех ваших редких партнеров, которые смело хватали вас кто за рыжую эспаньолку, кто за турецкий нос (ах, чего только не было в стародавние времена в магазинчике “Мельпомена” на Арсенальной!), распознав в вас по какому-нибудь немислимому, виртуозно исполненному абриколу “генерала от бильярда”...

Этот праздничный, буффонадный чин, пожалованный вам на рождественском маскараде атаманом Самсоновым, да жалкие Дашенькины украшения, соблазнившие вас в минуту отчаяния, – вот все, чем вы обладали в тот незапамятный день, когда вы отплыли на баркасе “Орфей”, осторожно примазавшись к молчаливому обществу удрученных деникинских офицеров, от берегов отечества.

Но были, конечно, и дерзкие замыслы, были мистификаторские способности и был необычайно подвижный, восприимчивый ум, который вам весьма пригодился, когда вы неожиданно сделались настойчивым посетителем довольно непривычных для вас заведений. Я представляю, как вас раздражала сухая, скрипучая тишина солидных библиотек! Представляю, как вы тосковали в дремотных, сумрачных залах по зычным голосам расторопных маркеров, по ободряющему цоканью крепеньких, славной работы Фрейбера, бильярдных шаров; не сомневаюсь, что они еще долго – вместе с кудесниками-киями, творившими чудеса на лазурном сукне, вместе с прожорливыми лузами, хищно заглатывавшими губастыми рыбьими ртами увесистую добычу, и прочими, дивно преображенными, любезными вашему сердцу предметами – навещали вас в зыбких дневных сновидениях, служивших вам сладостными привалами в вашем упорном походе сквозь кряжистые фолианты, туманные брошюры, хлипкие журнальчики... О, до чего же они изнуряли вас, все эти «трактаты», «заметки», «записки», исполненные назойливых примечаний, дотошных комментариев, настырных приложений! Одолеть их было гораздо сложнее, чем положить в дальний угол отменным клапшотсом упрямого красавца. Но вы не сдавались, ибо для осуществления ваших замыслов вам мало было приноровиться к степенной походке ученого мужа, мало было усвоить затейливые обороты речи и обзавестись впечатляющими (на сей раз настоящими и пожизненными) стрельчатыми усами. Вам нужно было еще вникнуть – и притом основательно – в кое-какие филологические тонкости, в кое-какие лингвистические теории, полистать труды почтенных географов, очерки ветреных путешественников, чинные сочинения историков. Словом, вам пришлось потрудиться. Пришлось проделать большую работу – оказавшуюся, впрочем, вам по плечу лишь благодаря мошенническому таланту, – прежде чем гималайское королевство Савитар, выдуманное вами,

по всей вероятности, еще на баркасе “Орфей” в часы тошнотворной качки на пепельных черноморских волнах, покорно перенявших цвет декабрьского ненастья, обрело, в подражание реальности, устойчивые очертания – качество, чуждое и малодоступное подвижным фантомам и зыбким вымыслам, но столь необходимое им для вожаемого выживания в условиях враждебной достоверности; прежде чем “савитарские тексты”, – будто бы обнаруженные на некоем высокогорном плато в суровых Западных Гималаях, где ваше расчетливое воображение поместило мифический Савитар, “тайное государство браминов”, – стали вполне внушительным, вполне реальноподобным предметом ваших будничных и неспешных исследований, а равно и предметом “искуснейших”, “кропотливых”, как простодушно считает журналчик “Language Arts”, переводов на русский, немецкий, английский (Боже правый! неужто и в самом деле можно кого-нибудь убедить, что эти бессвязные тексты, нарочно испещренные для пущей невинности таинственными лакунами, были созданы учеными королями и многомудрыми жрецами Савитара, “возникшего еще до рождения Гаутамы” и “внезапно исчезнувшего в I в. по Рождестве Христовом”?); и прежде чем просочилась, проникла в область всяческой несомненности, получив надежное гражданство привередливых энциклопедий, ваша самая главная и самая вдохновенная выдумка – язык гаятри, на котором были написаны (пишутся и сейчас, быть может... в особнячке на Скай Лайн в Декоре) “савитарские тексты”.

Уж ему-то вы, несомненно, обязаны всеми мыслимыми и немыслимыми почестями, этому таинственному, дремучему и фантастически непостижимому языку, который, однако ж, вам удалось постигнуть и который, судя по вашим то величаво немногословным, то нахально трескучим статейкам, является языком удивительно сложным, причудливо-прихотливым и по сию пору никому не доступным, – кроме д-ра Казина, разумеется; кроме некоторых его ассистентов да пестрой, разноязыкой шайки его лукавых учеников, предусмотрительно рассеянных им по всему свету и теперь уж не менее именитых, чем их седовласый патрон, некогда заприметивший в них родственные способности и безжалостно отучивший их от мелкого и трусливого шарлатанства, сулившего им в лучшем случае унылые годы безвестного лекторства. Впрочем, никто из них – ни профессор Делийского университета д-р Абхай Бхатнагар, в чью осанку лубочного мудреца-пандита – руки скрещенные на груди, горделиво неподвижная голова в чалме – вы, вероятно, вложили немало нервного труда на ваших особенных, “театральных” уроках (а он между тем, да будет вам, сударь, известно, позволил себе воровато вихляться на манер базарного балагура-факира, гастролируя прошлой зимою в вашем студенческом отечестве с пылкими, жгучими лекциями о глаголах гаятри), ни белокурая ваша любимица с табачного цвета бровями и повадками престарелой лоретки д-р Мария Буглон – ароматно ржавеющая хризантема в пышном букете прочих, любовно взращенных вами парижских филологов – сорт: “европейский Казин”, ни д-р Антонио Сангвинетти, преумножающий славу вашего дружного кланчика энергичным профессорством в Риме, – никто из них не может сравниться с учителем в ловкости и артистичности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.